

Ирина Листвина

Гербарии, открытки...



Ирина Листвина
Гербарии, открытки...

«Геликон Плюс»

2016

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Листвина И. И.

Гербарии, открытки... / И. И. Листвина — «Геликон Плюс»,
2016

ISBN 978-5-93682-889-8

История школьницы, в 1950-е годы попавшей в беду из-за
недолжного высказывания об И. В. Сталине.

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-93682-889-8

© Листвина И. И., 2016
© Геликон Плюс, 2016

Содержание

Вступление	6
Из Екатерининского сада. (Включая «Семейные истории и фотографии»)	10
Глава нулевая. Вечером после Парада Победы (Странное раннее воспоминание)	10
Глава первая. О зиме 1952–1953 годов и её продолжении. О первой серьёзной беде и о некоем памятнике (А также и о взбесившейся нянечке Алевтине)	12
Глава первая. (продолжается бегом, чтобы поскорее кончиться, да только это у неё не получится)	24
«Семейные истории и фотографии» (О семейном укладе и о наших «домах» в коммуналках)	26
Рассказ первый. Снимки дедушки и его домашнего уклада (а заодно и о моём раннем детстве)	27
Рассказ второй. Мама и наш дом на Владимирской (Фотопортрет мамы)	38
Рассказ третий. Летние фотокарточки с мамой и бабушкой	48
Рассказ четвёртый. И ещё – стереоснимки с мамой[28]	52
Рассказ пятый. Мой отец и фотосерии с ним	56
Рассказ-вставка. О матрёшке из двух девочек	59
Рассказ пятый. Серия снимков с отцом (окончание)	66
Рассказ-вставка (окончание). Начало хроник Твилики	71
Рассказ шестой. Ближайшая из окрестностей – коридорная владимирская коммуналка	78
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Ирина Листвина

Гербарии, открытки...

© И. И. Литвин (И. Листвина), 2016

© ООО «Реноме», 2016

* * *

Вступление

1

Когда автор говорит от собственного лица, то иногда это лишь псевдоним «я», а иной раз лицо это условно и неполно (хотя постепенно восполняется), да и за давностью лет оказывается даже и не вполне существующим.

«Я, я, я! Что за дикое слово! / Неужели вон тот – это я?»¹ – в этих строках В. Ходасевича выражено нечто более сильное, чем сомнение, но только не в реальности того, что он был когда-то тем мальчиком, а затем и юношей, «в Останкине летом танцевавшим на дачных балах», и едва ли сомнение в том, что он это своё «я» помнит. Нет, дело скорее в том, что такое я постепенно само становится образом, а в какой-то мере и псевдонимом.

Но в литературе есть и другие «герои – псевдонимы», они требуют маски или иного дополняющего их образа, они немного похожи на платье, облегающее стройную как манекен и слегка условную фигуру.

«Я» по сравнению с ними подобно дорожному плащу свободного покроя: не нужно ни представлять немедленно лицо, о котором идёт речь, ни описывать его внешность, характер... всё это выявится со временем, складываясь из чёрточек и мелочей.

В жизни, говоря «я», мы, как правило, выдвигаем себя на передний план, но при этом нас видят и слышат со стороны. Персонаж «я» в качестве героя произведения, казалось бы, и говорит-то в первую очередь о себе, но раскрывается, «расстёгивает и снимает свой плащ» медленно и при этом порой отодвигает свой образ на задний план.

Если вернуться всё к тем же строкам Ходасевича, то не секрет и то, что почти все люди находятся в не совсем простых отношениях со своим отражением в зеркале. Но то я, о котором идёт речь, – и не отраженье, ведь взрослый давным-давно выглядит иначе.

Многие его в этом я и вообще не узнали бы. Но... тем не менее Гюстав Флобер не солгал, сказав свою знаменитую фразу «Госпожа Бовари – это я», (точнее, мне так кажется. Иными словами, я, в отличие от вас, читатель, почти в этом не сомневаюсь). Он *не* был женщиной, он был намного старше, и этим далеко не исчерпывается его несходство с прелестной и незадачливой героиней, но при всём том он имел бесспорное, хотя и несколько странное право на отождествление себя с ней.

Бывает и проще – например, известно, что написав в романе о самоубийстве Мартина Идена, Джек Лондон сам всего лишь перебрался в другой, значительно менее провинциальный город. Обрыв биографии, разрыв с бывшими друзьями – всё это оказалось не столь трагичным, как в романе, но это ничуть не умаляет его автобиографичности.

Никто не лжёт, «всё это правда», не правда ли? Жизнь можно рассказать правдиво с точностью вплоть до фотографического снимка, но при этом сама она так эпизодична, подвижна, преходяща и неожиданна, что остаются живыми главным образом те эпизоды, а в них те мгновения, которые были памятью и впрямь как бы сфотографированы (как вспышкой) так, что от каждого из них осталось несколько моментальных любительских снимков. И вообще не приходится говорить об их точности и реализме, хотя что, казалось бы, может быть объективнее их?

Вспышка – раз, два, три.... Вот и всё, а сколько пропущенного осталось за кадром?.. Но никто не был волен в своём выборе, да и всегда ли нужно при этом ссылаться на суще-

¹ Из стихотворения «Зеркало» (1924).

ство столь капризное, своевольное и явно принадлежащее к высшим мирам, как (например) упоминаемая Набоковым Мнемозина?

2

В описываемую эпоху, ныне исчезнувшую (так быстро, так бесследно) и оставившую нам от себя только ряд странных предметов – бытовых приборов? Их, пожалуй, так уж и не назовёшь (из пластмассы, металла, проводки etc., уже не годных к употреблению)... итак, в описываемую эпоху в каждом «доме», состоявшем, как правило, всего лишь из одной коммунальной комнаты, на стенах повсеместно висели фотографии и любительские фотокарточки. В домах попроще, в сельских, они занимали целый уголок на стене, снимков было много, некоторые (особенно военные) были до такой степени любительскими, что только близкие ещё могли различить и узнать тех, кто существовал уже только на них, и притом в слишком сильно засвеченном и мимоходном, почти спектральном² виде.

В домах городских, особенно «поинтеллигентней», таких уголков на стенах не то чтобы не водилось, но они были меньше и предпочтение отдавалось фотографиям в аккуратных рамках, порой и фотопортретам хорошего качества, а любительские снимки и всяческие дополнения к тем, которые были на виду, хранились в толстых семейных альбомах. Неужели дела обстояли так, что стены было нечем больше украсить (безделушками, эстампами, растениями, – как это было всегда) и поэтому их вынуждены были увешивать этими снимками? Да нет: трофеев и «гостинцев» из Германии было достаточно, палехская и прочая изобразительно-поделочная продукция была куда доступнее, дешевле и ничуть не хуже, даже качественнее, чем многие годы спустя, да и репродукции известных музейных картин (от Русского музея и до Дрезденской галереи) были не такого плохого качества и доступны по цене... Отчего же вкус того времени остановился именно на фотографиях?

Мне ответят: «Кто спорит о вкусах, да и стоит ли говорить о них, у всякого времени – свои».

Да, но всё же я осмелюсь предположить, что вкус этот не был случайным. Что время – в первую очередь в России, но и не только в ней – с начала первой половины XX века постоянно испытывало на себе глубокие переломы с интервалами приблизительно в 20 лет. И что после каждого такого перелома ли, перевала множество людей (да и некие совокупности вещей, им принадлежавших или с ними как-то связанных) исчезали почти насовсем или рассеивались по белому свету.

Те же, кто оставался, кто не исчез, кто продолжал жить по прежним адресам – то ли просто чудом, то ли потому, что не имел ни веса, ни значения в общественном смысле, – что эти уцелевшие могли противопоставить беспощадным каменным потокам (да что там! Обвалам) времени? Только лишь эти картонные щитки (а кто знает, быть может, и надёжные *щиты*?) из фотографий, хранивших не только вечные тени близких, но и целые миры, уже едва ли распознаваемые и почти ничего не говорящие постороннему взгляду.

3

...Отчего же – гербарий, а не фотоальбом? В гербарии, в самой его идее заложен некий принцип точной и быстрой фиксации жизни в её преходящей мимолётности. В нём к тому же имеются подробные надписи и краткие описания (здесь – отступления, остановки), сделать которые владельцы фотоальбомов как-то обычно не удосуживаются... Да, и ещё – «цве-

² В смысле ином, чем научный и общепризнанный, – «призрачном виде» (от одного из значений слова spectrum, лат.)

ток засохший, безуханный»³, и ещё – застывшие в своём быстрокрылом трепете бабочки (всё же знак Мнемозины?), всё это стародавнее, от Пушкина и далее, до Набокова... всё та же несчастная, потому что обречённая (особенно же только что минувшим веком) попытка сохранения преемственности и неразрывности во времени, состоявшем сплошь из разрывов.

Да и конечно же, при всей своей случайности, принцип создания гербариев всё же, пожалуй, ближе к систематике групп, к последовательностям. И тем самым – к идее восстановления всё той же преемственности, в том числе и в литературе.

Фотоальбомы же создавались владельцами, как правило, отнюдь не творчески, бездумно, к тому же были слишком уж личной собственностью, подобно тем, девятнадцатого столетия, старинным альбомикам с рисунками и стихами, (вспомним случай, описанный Достоевским в романе «Подросток», когда (играя в будущего «идейного» ростовщика) юный герой покупает такой «дрянной альбомишко» за бесценок, а уступает с немалой прибылью – так как находится человек, для которого он содержит воспоминания, являющиеся именно его личным достоянием).

Итак, слишком уж личное, нерасшифрованное, даже как-то и нарочито недоступное содержание фотоальбомов, с их принципом беспорядочного накопления снимков... Нет, хотя это сюда, пожалуй, и подходит, но лишь в качестве недостижимого идеала и остановимся пока на гербариях.

И вообразим, что то, что находится в данном вымышленном гербарии, в его плотных и объёмных ячейках из уже посеревшего (а прежде белого) картона – это всё те же миниатюрные, как бабочки и цветы, нередко чёрно-белые, но иногда и цветные микроснимки. Нет, не напоминающие слайды, а явно сделанные любительской рукой и не имеющие, в отличие от последних, никакого отношения к красотах общеизвестных мест, таким как виды нашего города... А также и мест иных, но – всё равно и тем более – похожих на туристические достопримечательности.

Нет, данные гербарии и открытки (да и прочая мишура) всего лишь любительские коллекции из области воспоминаний....

4

Проза (рассказ ли это, повесть или роман) всегда сюжетна и тем самым динамична. В наши дни она становится всё более остро- и стандартно сюжетной, едва поспевая за газетной хроникой всё ускоряющихся событий. И всё более напоминает этим немое кино перед Первой мировой, кино всегда стремительное, с прыгающими, скачущими и скользящими кадрами. К тому же, если уж продолжить сравнение с кинохроникой, всё то, что мы видим, едва помещается на экране, ставшем до некоторой степени объёмным. Иначе говоря, его объём просто переполнен, особенно если принять во внимание всё то, что, оставаясь за кадром, как бы рвётся попасть в него.

...А фотографии памяти остаются плоскими (то есть по сути дела бессюжетными), в отличие от кино и цветных снов. Правда, иногда, когда они, повторяясь, как бы накладываются одна на другую, но при этом не тождественны, а в чём-то восполняют и «продвигают вперёд» одна другую, то возникает некий слабый стереоэффект. К тому же появляется окрашенность и даже красочность – так возникают открытки. Но и это лишь эпизоды, они кратки и бессюжетны. Точнее, сюжет не зафиксирован, рассредоточен, и поэтому их приходится дополнять надписями, словесными зарисовками, отступлениями etc. Бывает (но редко) и так, что этот стереоэффект повторения (самого любимого!) усиливается настолько, что мы попадаем в мир не менее объёмный, чем мир окружающей нас реальности или кино. Но всё

³ Из стихотворения А. С. Пушкина «Цветок» (1828).

равно – это фотографии, (такие стереографии в семидесятые годы точно существовали – они были заключены в пластмассовые непрочные шары, точнее, шарики. Посмотришь внутрь и видишь всё совсем как живое и всё же застывшее, как в воске). Но эта замкнутость, статичность... поневоле приходится прибегать к описаниям и размышлениям, а порой и вводить в повествование элементы вроде мультипликации, – так как мы ведь всё время находимся в поиске необходимейших фотографий. А значит, и в постоянной опасности того, что масса других, ненужных, а порой и непроявленных, просто засыплет нас... и мы окажемся в недрах, в безвыходной глубине горы.

5

И наконец, это повесть о детстве, но не для детей (хотя из неё при желании можно выкроить небольшую книжку для среднего школьного возраста), а скорее уж для тех, кто «родом из детства» и признаёт для себя справедливой сентенцию Т. С. Элиота «В моём начале мой конец⁴».

Она о детско-отроческой памяти и ностальгии, но не то чтобы по времени, пространству и антуражу описываемой эпохи – нет, скорее просто по тропинкам детства. И ещё она о вираже, поворотном, головокружительном и непонятном, совершённом страной именно на этом, достаточно тёмном и сжатом отрезке времени.

Хотя в ней и присутствует кто-то (или скорее что-то) вроде измельчавших потомков, отголосков и обмолвок Мнемозины, от неё не приходится ожидать сведений ни о славных или чем-либо выдающихся предках, ни о российском «Титанике» с его обилием канувших в Лету (и ставших музейными) экспонатов, ни, тем паче, – о малых эрмитажах поместий... Да, собственно, и о руинах, которые от всего этого остались и из которых (в частности, на протяжении пятого и шестого десятилетий двадцатого века) обыватели строили маленькие, временно уцелевшие плоты своих не слишком осложнённых бытом существований.

Она просто о людях и времени, которые почти забыты (а следовательно, и искажены); заслуженно или нет – это не столь важно.

Что до первого отрезка описываемого времени (годы 1950–1954-й), то его как бы и не бывало, от него резко отмежевались и постарались забыть, не проводя при этом никаких чётких границ. И он остался в нас блуждающим, как своевременно не удалённая пуля, а в окружающем нас мире – как мина, затонувшая в болоте, но в нём (и с ним вместе) плывущая, чтобы всплыть неизвестно где и когда.

Вторая же его часть, годы 1955–1960-й, более всего напоминала медленно всплывающий, всеобщий спасательный круг чуть ли не космических масштабов. Это время явилось для нас, в нём выросших, как бы началом своего рода «прекрасной» и неосуществившейся, оборванной эпохи (*belle époque*⁵), в этом-то и состоял парадокс немыслимого виража. Но и от второй половины (быстро свернувшейся) точно так же отмежевались впоследствии, давно уже поставив построенные ею космические корабли (а заодно и прогулочные катера, созданные из обломков упомянутого российского «Титаника») в скучные провинциальные музеи. И точно так же постарались её забыть, как и первую... Но так как она была всего лишь «неудавшейся попыткой», ничего особенно несправедливого в этом, быть может, и нет.

Итак, о двух половинах 1950-х годов, – но скорее всего лишь о глазах несчастно-счастливого ребёнка, а затем и подростка, свидетельствующих о них обоих.

⁴ В подлиннике: «In my beginning is my end».

⁵ Прекрасная эпоха (*франц.*).

Из Екатерининского сада. (Включая «Семейные истории и фотографии») Вниз по течению – в лагеря

*Ребёнок спал, покуда граммофон
Всё надрывался «Травиатой».
Под вопль и скрип какой дурманный сон
Вонзался в мозг его разъятый?*

В. Ходасевич

Глава нулевая. Вечером после Парада Победы (Странное раннее воспоминание)

Это – моё самое радостное и уникальное воспоминание, но в то же время оно и вообще им не является. Оно не обладает достоверностью и гораздо ближе ко сну, к простой детской сказке, рассказанной няней или бабушкой. (Обе бабушки мои – их не стало во время войны, а вместо няни иногда приходила посидеть дворничиха тётя Шура с рябым квадратным лицом.) Дело в том, что это, и сказать-то совестно, воспоминание ребёнка, которому тогда был один год от роду. Оно, строго говоря, не обладает даже и реальностью. Оно – как несфокусированное золотое пятно, как облака, из которых прерывисто вылетают огненные дивноцветные птицы Салюта. И всё же я что-то не до конца мне понятное (неправда, понятное!) очень хорошо помню.

Это был самый огромный из всех праздников на свете. Странные великаны окружали меня: не нарядные (то есть нет:, сколько угодно шифона и крепдешина, единственных туфелек, парадных форм; ну а рядом – сколько стёртых сапог, изношенных шинелей, стареньких платьев с чужого плеча) – но кто же думал об этом?

Все они были так молоды и счастливы (в том числе пожилые) – герои, вернувшиеся к нам с войны в день Победы.

Но впрочем... Так молоды? Да, поразительно молоды: вспомним героев тогдашних кинолент – это была особая молодость людей, ставших взрослыми внезапно и как правило, в 14–15 лет. Молодость не припудренная, как у петиметров⁶, а запылённая сединой, обветренная каким-то особым гримом усталости, мороза, пороха и стойкости, огрубевшая, но оттого ещё более юная.

Я так и не смогла поделить этих охмелевших от счастья великанш и великанов на своих, с одной стороны, пап и мам (моим было под тридцать), а с другой – на старших братьев и сестёр. И это осталось на всю жизнь. Добавлю в скобках, что, может быть, из-за тогдашней нашей (малышней) нерешительности на этот счёт они так долго и впрямь были молоды.

А впрочем... охмелевших от счастья? Да, я никогда потом не встречала более счастливых людей, но счастье это было не таким уж и простым, в глубине их глаз продолжали бежать киноленты воспоминаний о боли перенесённых и причинённых потерь и утрат, о

⁶ Петиметры – щёголи XVIII в. в напудренных париках.

чуде жизни, падавшем им каждый день (да что там день – миг!) на ладонь наподобие орла или решки... И так – много, много дней...

Зачем же я пишу об этом? Об этом в прекрасной песне «День Победы» сказано гораздо короче и лучше. Да и что могла я понимать? Очень немного и только самое главное.

Дворцовая Площадь кружилась, все танцевали какой-то всенародный Вальс, плакали, обнимались и расставались, и шли вразброд, а кто-то и наугад, ничего не видя от слёз и зная, что всех потерял и всё надо начинать сначала. Но всё танцевало и тонуло в золотом облаке первозданного счастья (Золотой век? Так вот какой он!), в петергофских небесных фонтанчиках Салюта.

В городе ещё (уже?) *почти не было ни младенцев, ни кошек, ни собак*. И все тоскливо помнили – почему. И каждое такое существо, в особенности же младенец – Малыш! – бурно приветствовалось. Сколько раз меня поднимали на руки, подбрасывали, целовали, отрывали от папы – да я ведь всего этого терпеть не могла по своей природе недотрожки⁷. Но им было можно. И более того, в тот День это было величайшим счастьем незаслуженной, полученной авансом всеобщей любви. Да, так это и запомнилось: как ве-ли-чай-шее счастье – на всю доставшуюся жизнь... Как будто все они, пришедшие и не пришедшие, вернувшиеся и не вернувшиеся, показали нам, малышам, как они любят нас и велят жить долго. Долго и счастливо. Да! «Только, дорогие, уж как получится», – следовало бы сказать в ответ, будь я хоть на несколько лет разумнее.

Но были и прекрасное мгновение, и детский сон (ведь была я на Дворцовой совсем недолго, меня унесли домой спать), а произошло всё же *То*, что запомнилось мне навсегда и невзирая ни на что.

Навсегда, на ту жизнь, в которой мне потом нередко (и давно уже взрослой, и ещё не взрослой) приходилось ощущать себя той незадачливой фигуранткой тяжбы «Джарндисы против Джарндисов» (из романа Диккенса «Холодный Дом»), у которой иногда «в голове немного путалось».

...Да уж, как именно кому из нас, немногочисленных малышей, побывавших на этом Празднике, довелось начать жизнь в разрушенном изнутри, запустелом и подобным эху бывшего городе – это совсем о другом. О другом – гадкого утёнка – возрасте, о послевоенном, позднесталинском времени.

И о множестве эпизодов, оставшихся в памяти разорванными: например, об огромных крысах в ночной необитаемой (и тоже в своём роде огромной) коммунальной кухне (мне три-четыре года). И о худой кошке – да что там! кошчонке, а не кошке, – обыкновенной чернявенькой Мурке, которая почему-то в этом остатке «людоедства» прижилась и страшных зверей выгнала. И стала вдруг чёрно-белой, миленькой, стала заводить котят, и их не топили, не гнали, нет, а вот только мы, дети, порядком их мучили. И добро не побеждало и не торжествовало – о нет (оно от этого быстро отвыкло)! А приживалось с горем и злом пополам в полумёртвых, медленно выздоравливавших домах и дворах на нашей Владимирской площади...

Но начиналось-то – с Парада Победы!

⁷ Недотрожка – детски уменьшительное от недотроги.

Глава первая. О зиме 1952–1953 годов и её продолжении. О первой серьёзной беде и о некоем памятнике (А также и о взбесившейся нянечке Алевтине)

Екатерининский сад тогда принадлежал прежде всего детям и наблюдавшим за ними со скамеек бабушкам, своим и чужим, ещё – крайне немногочисленным няням да, пожалуй, время от времени расчищавшим сад от снега людям в ватниках. Зима была снежная, а сад в тот день – заснеженным на удивление. Рядом, в двух шагах, во Дворце пионеров (бывшем Аничкове) одарённые дети и их искусные ловцы и водители, замечательные педагоги создавали кружки, эти яркие, театральные и весёлые дополнения к сероватой и угрюмой, в общем-то, школьной жизни.

Огромные окна дворца начинали светиться зимой с трёх часов дня, вызывая у меня возбуждённо-мечтательное желание: воспарить, разбежаться и оказаться вдали – одним прыжком (в высоту и в длину).

Впрочем, в тот день моей целью, явной и тайной, как у всех нас, был цоколь памятника. Мне было тогда восемь с чем-то лет, но... Да, некое «но» имелось, и было оно с большим подвохом. Я была очень высокой для этого возраста девочкой, «папиной дочкой» (рост отца был более 190 сантиметров, а мой – почти 160.). Не ощущая себя недорослем, во всяком случае по параметрам, я стремилась попасть будущей осенью в литературный кружок в этом здании. Те, кто причислял меня к великовозрастным дылдам, глубоко ошибались. Меня взяли в первый класс в 6 лет, как умеющую читать, писать, рассказывать сказки, разговорчивую, но... очень скоро вы убедитесь в том, что при этом мне было оказано слишком большое доверие, которого я не оправдала.

В третьем классе школа внезапно мне надоела – прежде нравилось поднимать руку раньше всех (она сама выскакивала!), а теперь нет, а ещё больше надоело всё заранее знать, вспоминать и угадывать. И при этом не столько ощущать себя выскочкой из ряда вон (да нет! Моими любимыми героями были Том Сойер и Гек Финн), а остро чувствовать, как другие это замечают и обсуждают. Так как я была младше остальных, то по сравнению с ними была скорее простушкой, меня несложно было обмануть, насмешить (да и подставить) по принципу «покажи пальчик и засмеюсь». Если бы я обладала прирождёнными и явными людскими талантами, любыми – считать в уме, петь песни, ну наконец, доплунуть до потолка, – меня бы за это в классе уважали. Но мне просто всё легко давалось, и не только по способностям, честно говоря. Они не знали, но я-то знала, что со мной пусть немного, но занимались дома, гуляли по улице Зодчего Росси, ходили иной раз и в Филармонию, и в музей. И получалось, что я никакой не Гек Финн, а в лучшем случае дочка судьи Тэчера, Бекки.

Но никакой такой Бекки (если не считать толстой и пушистой, пока совсем короткой косы) не было во мне и в помине, я дралась с мальчишками во дворе, отнимая у них, мучителей и пиратов, захваченных ими в плен (для подозрительных экспериментов) малышей и котят – с разбега, что вполне позволяли мне рост и вес. При этом я выдумывала про себя, что мчусь на коне (на самом же деле, разумеется, на своих двоих), и врезавшись своей массой в их ряды, отнимала кого-то маленького, плачущего или пищущего. Ведь эти дворовые мальчишки-сверстники были всё ещё ниже меня ростом, они были тощими и недокормленными, они разбегались с руганью, но при случае совершали ответные отмстительные набеги.

Мы были послевоенные, шальные и огрубевшие, росли как трава сквозь асфальт, а мир вокруг казался ещё немного контуженным, но вполне при этом живым и только чуточку странным.

Ещё он вспоминается мне чёрно-белым, но ярким, а в то же время – и каким-то ободраным. Ярким, но вместе с тем затуманенным и прикрытым, как старая мебель при переезде на дачу (на *ничью* дачу, которую то ли долго разрушали, то ли строили, но достроить всё не получалось). На дворе о войне больше всего напоминали низенькие деревянные сараи, выстроенные сразу после неё или ещё в конце... А где-то в дачной местности (любой, где угодно) ещё всюду попадались мины в воде и на берегу озёр, скелеты и каски в оврагах и уйма безадресной, непонятного назначения колючей проволоки...

И ещё мир казался мне таким, как в детской игре-присказке тех лет: «„Да“ и „нет“ не говорите, чёрного и белого не называйте, красного и синего не покупайте», – и действительно, разговаривать о многом было категорически нельзя. В нём, недоремонтированном, находящемся в состоянии послевоенной реконструкции, не было пока для детей места – внутреннего и душевно мирного. Да и времени не было на «пожалеть кого-то», кроме котёнка, или плачущего малыша, или себя (что не поощрялось). Нет, такого не водилось в нашем дворе и коммуналках, это было под запретом, здесь действовали железные законы равенства в очередях: там отстоял, получил и пошёл, а здесь, впрочем, вроде бы пришёл и остался, ладно уж...

Но непонятным образом в квартирах для каждого соседского ребёнка находилась – и чаще не от избытка, а от явного недостатка, – тарелка супа с куском хлеба.

И не принято было (вслух или как-то ещё) жалеть пьяного и безногого, матерящегося инвалида войны дядю Васю, то есть можно было, но в глубине души. А в глубине этой я почему-то не умела, жалость просто замораживалась чувством страха. А уж пожалеть его сына Серёжку, пьющего в девять лет, второгодника, грубияна, а порой и садиста, – ну уж это, что называется... Это было – ум за разум, выше крыши. Одну только ответную (классовую?!) ненависть могла бы вызвать такая жалость, вероятно, и у него самого, но, впрочем, никто ведь и не пробовал.

Надо сказать, что и меня никто не хвалил, не любил и не жалел в этом, пожалуй, и не мире, а всё же внешнем мире, состоящем из класса, лестниц и двора.

Учительницу нашу Антонину Георгиевну, псевдоинтеллигентную даму достаточно преклонных лет, похожую на последние фотографии Н. К. Крупской, раздражало и даже оскорбляло не столько моё всезнайство, а в основном то, что и другие взрослые, а не только она одна, называли непредсказуемостью. (Видимо, это была какая-то смесь из необязательности, беспомощности и рассеянности, которая казалась им просто притворством в маленькой девочке с отличной памятью, сообразительностью, а порой, хотя и редко, внезапно проявлявшейся реакцией совсем неопытного, но хваткого бульдожки).

Шёл предпоследний год раздельного обучения, и в третьем «а» классе были одни девочки. Однако девочек с бантами, похожих на героиню фильма «Первоклассница» (по пьесе драматурга Евгения Шварца), было совсем немного. Многие, как и я, хотели быть девочками и мальчиками одновременно, да и были по сути дела, скорее последними. «Мальчишенки» же среди нас встречались разные, в том числе и примерные ученицы, как брат Тома Сойера Сид, и совсем не примерные, вплоть до дважды и трижды второгодниц, щеголявших шпанистым и беспризорным шармом конца сороковых, уже безвозвратно прошедших.

Среди нас, конечно же, имелись две круглые отличницы и несколько хорошо успевающих девочек из интеллигентных семей, и мамы старались подружить нас, приглашая на дни рождения и просто к чаю. Но, увы, мне было с ними неинтересно, а они меня даже чурались чуть ли не с негодованием. В том, что я за полчаса и ничуть не стараясь схватываю то, на что им приходилось тратить намного больше времени, они видели в лучшем случае силовой «фокус-покус», грубый вызов, а в худшем – что-то вроде нечистой силы.

А потом, они не увлекались ни Марком Твенем, ни Жюлем Верном, ни Майн Ридом, не дрались во дворе с настоящими мальчишками, и вообще их дома научили быть девочками – существами аккуратными и собранными. Кроме них, были ещё другие, неоперившиеся и только как бы всё поступающие в школу девочки-«малышки». Они любили, когда я рассказывала им сказки, но не хотели играть в Гека Финна и Миссисипи, ограничиваясь Айболи-том и Африкой, и вообще побаивались моей репутации. Ещё было несколько обособленных девочек, то есть тоже отличающихся от других чем-то своим, но скрытных и скроенных на свой (а не на мой) лад. Года через два мы могли бы подружиться или заинтересовать друг друга, но только не теперь. Сейчас каждой из нас нужно было доказать и подтвердить *своё* право на существование.

Примерно треть класса составляли большие девочки, старше остальных на 2–3 года: немногие из них поступили в школу позже, а большинство не раз оставалось на второй год. Если у них не было «крепкой семьи» (такой, где кто-нибудь из взрослых зарабатывает и не пьёт), они среди нас не задерживались, а быстро попадали в интернаты и ПТУ.

С одной такой девочкой – её звали Вале́й – я подружилась (внезапно и неожиданно), с досады на отсутствие подруг, хотя некоторую роль тут, впрочем, играли её новизна и экзотика. Уж у неё-то точно нашлись бы общие знакомые если не с самим Геком, то с его папашей. Прогулять урок-другой вместе с ней ничего не стоило, ей можно было гулять повсюду, по Фонтанке и везде, так что до Летнего сада мы с ней не дошли просто случайно.

К сожалению, время, отмеренное для знакомства, оказалось коротким, и всё кончилось детским Екатерининским. (Мне мама разрешала гулять одной только в первом дворе и в маленьком сквере у Владимирской церкви через площадь – в местах, где меня было видно из окон.)

Итак, вместо последних уроков мы с Вале́й через Щербаков переулок, минуя коней Клодта и почти не побывав на Невском, дошли до Аничкова дворца. И вскоре оказались в самом небольшом из городских садов, в центре которого возвышалась огромная статуя императрицы Екатерины Второй (Катарины Секунды на языке Древнего Рима), в кругу сподвижников, на высоком колоколообразном постаменте.

Статуя (я ещё невежественно подумала тогда, что слово «статная» происходит от статуи) и её окружение парили в тяжёлом и звонком декабрьском воздухе. Её обледенелый пьедестал (тоненький, гладкий лёд совершенно сливался с полированным гранитом) отчасти заменял нам в ту зиму, непрерывно сыплющую снегом, аттракционы и прочие будущие утехи парков культуры – с него скатывались, как с крутой ледяной горки, умеючи и как попало, лишь бы хватило сил забраться хоть на полметра, трудней же всего было забраться повыше. В тот день, не только, как уже сказано, снежный, но и довольно морозный, он был с утра окружён мгновенно застывающими и почему-то ещё не убранными сугробами, среди которых были и бесповоротно затвердевшие, высокие и гребнистые, и не такие давние, и просто свежие, мягкие холмики. По всем ним мы как-то умудрялись забираться на цоколь, а если падали, то старались куда помягче. Как только мы не скатывались с этого взятого штурмом хотя бы на полметра, абсолютно скользкого гранита: как с горки, столбиком, ласточкой, даже и «на санках» (из веток, связанных кое-как), при этом всегда стремглав, – и, разумеется, это продолжалось одно лишь мгновение, зато бесценное и восхитительное.

После того как мы несколько раз так скатились (я – в основном кубарем, Валя – столбиком), мы обе пришли в великолепное настроение и начали болтать всякий вздор и хвастаться. День был ослепительный, облачный и солнечный, и несмотря на минус то ли пять, то ли все пятнадцать градусов, в воздухе пахло свеженакрахмаленным бельём, как это бывает (как известно) перед самой весной – при всём торжестве и великолепии зимы. Была всё же одна досадная мелочь, которая могла бы привлечь моё внимание и даже остановить. Мой большой палец в порванной варежке попал в узенькую щербинку в цоколе, ушибся и посинел.

Но радостное опьянение этим днём было куда сильнее боли, и язык мой всё болтал, как маленький «раз-зяв!-вязавшийся» колокольчик, болтал на свою большую беду.

Мы с Вале́й, в сущности, не только мало знали друг друга, но и совсем не слушали, наши колокольчики звенели совершенно независимо, а уши насторожены не были. Отболтавшись и устыдившись своего весёленького, эйфорически тщеславного состояния, мы должны были выкинуть каждая какой-нибудь финт (быть может, и обидный немножко, но не больше) и разбежаться по домам. Однако во все времена, а в те особенно, уши имели фильтр или избирательную сигнальную систему тревоги (и трезвости). Например, если бы Валя сказала, что она американская шпионка, я обязательно услышала бы эти слова, хотя едва ли отнеслась бы к ним – во всяком случае, в первый момент – серьёзно.

Но где-то отложилось бы: нас так воспитывали, так натаскивали в школе – как щенков, которые обязаны реагировать. А вопрос, всерьёз ли, и следует ли говорить воспитателям и учителям, находился в более личном плане и мог решаться с большей степенью свободы.

... Я не бывала ни разу американской шпионкой в своём богатом воображении, но фантазёркой определённо была и позволяла себе в «полётах наяву» многое. С Вале́й, бывшей старше меня на три года, дочерью соседней (не нашей) дворничихи, я была знакома – в смысле сближения – день или два, не больше. Но это не мешало моему колокольчику весело звенеть в унисон с Валиным и в частности брякнуть что-то вроде: «Ты говоришь, что вождь святой, а я знаю, что у Сталина было четыре жены. Он достаточно стар и вряд ли на ком-то ещё женится, но у него колоссальный выбор, – только посмотри вокруг: хороших, да что там – прекрасных женщин так много!» (Кстати, как уже было сказано, в саду в это время дня преобладали бабушки и няни.)

Я не знаю, не помню даже толком, что же именно из всего этого я сказала на самом деле, да и могла ли вообще ляпнуть столько. Как бы там ни было, сказанного оказалось более чем достаточно, и оно было – даже и по моим меркам – нелепым... Произнеся это, я в ужасе замолчала – «ну сморозила!», – своим молчанием резко выделяя значимость сказанного. Два наших колокольчика вместе вполне способны были составить один испорченный (вдрызг!) телефон. Вот в каком виде моё выдающееся сообщение дошло до всей школы, начиная от нянечки Алевтины, подруги Валиной мамы, и кончая учительницей Антониной Георгиевной: «Любая первая встречная – на улице – симпатичная женщина вполне достойна быть женой товарища Сталина!» Иными словами, глупейшее и циничнейшее оскорбление величия из возможных.

Так, кружась и звеня под зорким, как у Афины с совой, взглядом мудрой императрицы, также являвшейся символом величия государства, в кругу её псевдодоброжелательной улыбки («Всем сестрам по серьгам», – как говаривала она когда-то), я чуть не разбила вдребезги (но не об этот постамент, а о другой, – повсеместно присутствующий в нашей жизни памятник вождю) мой новенький и блестящий, звонкий, замкнутый и счастливый кокон детства. Он был любовно свит мной из прочитанных книжек, обрывков маминих арий и всяческого, как золотого, так и отнюдь не стоящего, а просто приглянувшегося мне мишурного сора (из моих, перефразируя А. А. Ахматову, ещё и не проклюнувшихся даже, но уже – от незнания – «стыда не ведающих» будущих стихов, которых ещё и в помине не было!). И он был так славно обжит, этот «Кокон»⁸ во всём его золочёно-ёлочном и игрушечно-бьющемся очаровании.

Но как не вовремя и в каком враждебном мире чуть не лишилась я шаткой своей защиты! Участь птенца, доигравшегося и выпавшего из гнезда на холод.

Стоял декабрь 1952 года, шло дело врачей, готовились «жилые вагончики» в Биробиджане, а также и закрытые вагоны для отправки туда... Многие инженеры старше моего отца

⁸ О котором речь впереди.

по возрасту и чину были уволены с работы, моя мама только что вылечилась от туберкулёза и ещё числилась в иждивенках.

... Ближе к вечеру я пошла в школу за забытым портфелем, а там попала в руки самой «нашей» нянечке Алевтине, и уж она, эта добрейшая тётя Аля, колотила меня им (а заодно и своим старым зонтом) сколько хотела больно по голове и орала: «Ещё и Вальку в дела эти впутываешь!»

А на следующий день, но, к счастью, раньше отца к нам домой пожаловала учительница. Она была похожа одновременно на классную даму и на фурию – даже серый пучок волос, слегка дрожавший под шляпкой, был фуриозен, не говоря об остальном. И сказала она вот что: «Ваша дочь сама себя посадила, да и вас с мужем тоже. Она всё сделала, чтобы посадить и меня, но со мной просчиталась: я уже сообщила обо всём куда следует».

Антонина Георгиевна недаром была в прошлом завучем, проработав учителем более тридцати лет. С нами, малышами, она ещё только как бы входила в преддверие пенсии (опытных учителей не хватало, и работать она могла бы спокойно чуть ли не до восьмидесяти).

Своё слово в отношении меня она сдержала – и с завтрашнего же дня начались всеобщие дружные издевательства. Класс заходил вокруг меня ходуном; сбить с меня – и в её присутствии также, то есть особенно! – очки, обругать нецензурно вполголоса, смеяться, передразнивать, приписывать мне любую пропажу – всё было можно, всё было хорошо. Объяснение же и оправдание этому или «общее мнение от лица педагога» найдено было простое: «Она ненормальная и её скоро посадят!»

При этом Антонина Георгиевна настолько видеть меня больше не могла, что позволяла – в разумных пределах – пропускать уроки и продолжала ставить хорошие оценки, вполне, впрочем, заслуженные, так как школьную программу первых четырёх лет я знала с опережением. Иными словами, до того не могла, что даже относилась объективно, хотя (а может, и потому что) я едва ли была способна это оценить.

...Итак, всё это, как и для многих пострадавших в 1950-е годы, объяснялось культом личности (каралось даже то, что люди по неосторожности наступили на газету с портретом вождя, – всё это давно всем известно), а также моей эксцентрической способностью говорить что попало.

Но – не совсем и не только что попало. На самом-то деле на душе у меня накопилось нечто, мне самой не слишком понятное, но связанное в том числе и с тем, что в классе девочки непрерывно доносят учительнице друг на друга, а она их за это «любит и хвалит». А также и с тем, что о товарище Сталине нужно было либо не говорить вообще, либо говорить, как бы стоя на вытяжку (а детям – как бы встав на цыпочки).

А тут, у постамента, где мы так беспечно резвились, ни о каком «стоянии смирно» не могло быть и речи. Вот мне и показалось, что можно дать себе волю и обиняком (так как в моём детском сознании личная жизнь взрослых ещё находилась где-то на далёкой обочине и говорить о ней позволено было только вскользь) – взять и высказаться...

Вскоре наступил Новый год и начались каникулы – целых десять дней, срок достаточно долгий, чтобы вторая половина декабря показалась мне кратким кошмарным сном, но тем горше было пробуждение в середине января. Когда к человеку любого возраста, ребёнок он, взрослый или старик, приходят беда или испытание, то они имеют и свои пределы. Но при этом никто обычно не знает ни их условий, ни главного – продолжительности.

А основной вопрос при этом – «насколько у меня хватит сил?», или «когда я сломаюсь и поползу перед ними?», или «когда я просто упаду?».

Мама не рассказывала отцу о визите учительницы до середины февраля: она боялась, к тому же он то и дело уезжал в командировки – это был его способ сопротивляться чрезмерному усложнению жизни вокруг. Но для меня самым скверным из всего произошедшего было именно то, что из-за меня могут посадить родителей. Ведь я не читала газет, от меня

вообще многое скрывали, про биробиджанские вагончики я просто не знала. Но зато знала наизусть, что проболтаться в школе о чём-то из случайно услышанного дома значит подтвердить худшие опасения близких. И тут мама не то чтобы оказалась на стороне моих мучителей – нет, она не могла осуждать меня: для этого она слишком за меня боялась, я была её единственным ребёнком, для неё – самым уязвимым, нервным, странно впечатлительным на свете. Но она ничего не понимала и не хотела знать, для неё это был «сумасшедший дом в классе и в городе». И я скрывала от неё всё происходящее, кроме участвовавших синяков и ушибов, а она изо всех сил старалась не видеть моих потерянных и затравленных глаз. Она страшилась за меня, но не могла вынести и вместить многого. И в частности, того, как это я умудрилась вообще *что-то* сказать, не важно, глупое или умное, но, как ей казалось, «высунуться, поднять голову» перед лицом власти, той непреодолимой силы, которой она, в бытность свою маленькой одинокой девочкой Розочкой, привыкла бояться больше всего на свете. Так что ей приходилось склонять своё цветущее личико до земли, лишь бы только отпустили, пропустили и не погубили...

Но совсем иначе отнёсся к случившемуся со мной её отец, мой дедушка. Что он был за человек и какова была собственная его судьба, я расскажу потом (см. «Семейные истории и фотографии»). А сейчас скажу лишь, что он гораздо лучше моих образованных родителей понимал (хотя бы в общих чертах) то, что происходило вокруг и всем нам угрожало. Не только нам (и семьям как наша), а всем нам «как классу», да и множеству других людей, непонятно каким образом попавших «на этот этап эпохи». Он также говорил моим родителям (сам никак не будучи специалистом в области техники), что грозовой атмосферный разряд всегда находит наиболее слабую и уязвимую точку в доме, если она есть. И что такой точкой естественнее всего может оказаться душа ребёнка. Дед не жил с нами, но всегда почему-то оказывался у нас, когда был нужен, особенно если отец был в командировке. И в эти страшные месяцы – январь, февраль, март (разумеется, не менее страшные и для него, так как он всё понимал) – всё это время наши глаза, столь по-разному видевшие мир, не отрывались друг от друга, и мои – обезумевшие, измученные – читали в его, лучисто скорбных, надмирных и ласковых, неизменно одно и то же: «Майне мейделе» (моя девочка. – *иди*) и «не бойся» – слова, которые вслух он произносил редко. Его сердце было всё время обращено ко мне, и это спасало. Я не знаю, чего это ему стоило, ведь ему было уже под восемьдесят...

А потом наступило то раннее утро. Громкоговорители кричали с шести утра, и люди, множество людей в пальто и шубах уже стояли на тёмных улицах, когда я проснулась. День был будний, школу не отменили, но вместо занятий шла гражданская панихида прощания с вождём (как и на всех предприятиях города). Я не помню, кто из них – мама или дедушка – провожал меня до школы: сама я идти боялась. Помню, что мама, как и почти все вокруг, искренне и горько плакала. В актовом зале (он же и спортивный, и вообще единственный) плакали почти все – учителя, дети-доносчики и дети-жертвы, плакали малышки и второгодники (среди последних и будущие уголовники), плакали нянечка Алевтина и моя «приятельница» Валя. Впрочем, лили слёзы, надо сказать, не все, но мы, равнодушно застывшие, резко выделялись.

О чём думали они, мои немногочисленные и невольные соучастницы, я не знала. О чём думала я сама, глядя на его громадный, в четверть стены портрет, окружённый чёрными лентами и свежесрезанными (зимой) цветами? Кажется, я ничего плохого ни тогда, ни раньше о нём вообще не думала. В нашем семейном представлении у него было грубоватое, с хитринкой, восточное и «архетипное» (как сказали бы сейчас) лицо, простое лицо человека, который отвечает за всё и является Отцом Отечества.

Ненависть? Но к кому и к чему? К государству, к отчизне, которую олицетворял для таких как мы этот усталый старый человек? Нет, ничего подобного не только не было, но и

не могло быть. (Кстати, о его четырёх жёнах я ровным счётом ничего не знала, «где-то, как-то и что-то» слышала сквозь сон.) Меня укладывали спать в девять вечера и я мгновенно засыпала, а у родителей жизнь продолжалась за полночь. В комнате был личный телефон отца для связи с главком в Москве, иногда заходили знакомые. Я просыпалась позже – ночью, около двух, потом через некоторое время снова засыпала, слыша дыхание родителей. И всё же кое-что из их разговоров обрывками просачивалось в моё спящее «бес»-сознание, но естественно и безо всякого понятия. Впрочем, мои уши были в некотором отношении сродни кошачьим или антенне приёмника (ловили и сквозь сон всё подряд – наверное, потому, что им всё тогда было интересно).

...Нет, казалось бы, не существовало никакой прямой, понятной сознанию связи между лицом человека на портрете, увитом чёрными лентами, и доносами в нашей школе, и тем ужасом, который мне довелось пережить в последние месяцы и недели. Но лицо это нас приучили любить, а из меня это уже было выбито, выколочено (но я тогда этого ещё не знала).

...И были некий странный холод в душе и явное нежелание плакать вместе с моими мучителями. Было ощущение, что образ вождя от их слёз странным образом расплывается, расплзается, как будто происходила быстрая замена (и подмена): сначала живой человек на портрете, потом его чугунно-чёрный памятник, потом он отодвигался в какую-то другую часть площади, или сквера, или даже двора, и наконец – или это снилось мне наяву? – он становился бюстом из папье-маше на обшарпанном зелёном сукне, чем-то (по отношению ко всем вообще, а не только ко мне) безликим и безразличным.

Впрочем, чувство глубокого безразличия, смешанного с крайней усталостью и страхом, было у меня тогда постоянно, оно просто усилилось и дошло до предела в тот день. И ещё: я впервые на самом деле (а не по внушению извне) поняла, что чем-то отличаюсь от других детей – чем-то, мне самой едва ли понятным и ведомым. К своему глубокому прискорбию и сожалению, ведь это так трудно исправить (хотя всё возможно Богу, как считал мой дедушка), я поняла – не сразу, а недели через две – то, чего не в силах была осознать в ту минуту. Что души моей тогда коснулось многовековое и кровное непощение обид, основанное, как ни странно, на страдальческом их долготерпении.

Глава прерывается

Отступление 1-е⁹

Его, как и последующие, расскажет человек, давно ставший взрослым (да, взрослое и совершенно уже другое «я» той маленькой девочки, о которой только что шла речь, позволит себе вмешаться в ход повествования). Теперь «я взрослая» достою на этой гражданской панихиде оставшиеся минуты вместо неё и спокойно подумаю. Не *вместе* с ней, она так думать не могла, а *вместо* неё.

...Упомянутое непощение... нельзя назвать его чем-то сугубо национальным, русским или еврейским. Много было сказано о том, что евреи плохо умеют прощать, про русских тоже говорят, что они, как коренные, долго запрягают (терпят?), но зато быстро везут, хотя это всё же, пожалуй, что-то другое.

⁹ Впоследствии будет немало кратких отступлений, но в отличие от больших (и немногих), они будут называться просто остановками.

А этот узкий кусок (клинок) льда, осевший тогда на дно моей души и неведомо как глубоко и надолго готовый застрять в ней, пожалуй, не был сравним ни с личным чувством обиды, ни со вспышками общего, коллективного, и даже общенародного гнева, раскаты которого неоднократно сотрясали русскую историю и так явственно и отчётливо слышны в Увертюре «1812 год» П. И. Чайковского.

Человек, которого провожали тогда в последний путь повсеместно, о котором скорбела Россия послевоенных лет... Но пройдет так мало времени – и годовщину его смерти «все» забудут, а некоторые даже будут праздновать, уже ни от кого не таясь. А среди последних – и избранные: например, Анна Андреевна Ахматова, Иосиф Бродский с Евгением Рейном и друзьями будут собираться в этот вечер и пить с огромным облегчением и благодарностью за то, что событие это всё же произошло, так как для них оно было смертью Злодея с большой (и даже огромной) буквы. Но можно ли вообще праздновать похороны, чьи бы там ни было, не слишком ли много мрачной торжественности, идущей от вышеупомянутой гражданской церемонии, при этом проскальзывает и присутствует, как тень, омрачая застолье? Ответ совсем не прост, но его отчасти дал сам Бог в дате события смерти Сталина.

Эта дата совпала с праздником Пурим того самого 1953 (по нашему летоисчислению) года, праздником не только еврейским, но и ветхозаветным, и стало быть, как часть библейского предания, принадлежащим всему человечеству. Речь идёт о празднике в честь того, что «когда-тошнего» Злодея с большой буквы – правда, не самого царя персидского, а его великого визиря, подговорившего царя убить целый народ, – взяли да и повесили: «Узнай, Амман!» (так тебе и надо!)¹⁰ – раз и навсегда. Этот праздник чаще всего приходится на месяц март, но следует учесть, что ветхозаветный календарь испокон веков подвижен (подвижен, впрочем, и православный календарь в ту часть года – на стыке конца зимы, коротенькой весны и начала лета. Но для России это всегда преддверие весны, а потом придёт и сама весна, которая продолжится от Великого Поста и до летней Троицы – Пятидесятницы).

Поэтому в последующие годы эта дата не совпадала с изменчивым по своей сути праздником Пурим (ибо в этот день происходили не только мажорные, но и трагические события), да и само название «Пурим» в переводе с иврита звучит как «судьбы, жребии», что далеко не всегда радостно.

Но согласно древнему обычаю, Пурим – дни карнавала. Да, как ни странно, в память смерти Злодея принято радоваться, танцевать и пить, но ни в коем случае не серьёзно, не торжественно, а напротив – беспечно, смеясь при этом и над собой. Порой дело кончается тем, что в смехе как бы теряется сама граница между добром и злом, злодеем и героем (вернее, та граница познания добра и зла, которая доступна человеку?). Карнавал? Нелепое празднование похорон? Да, пожалуй. Но сама вечность незаметно садится при этом за стол и учит тому, что все мы ещё лишь подростки с разной внешностью, что не нужно нам иной раз быть столь серьёзными, что надо на какое-то время о чём-то забыть – и в том числе о тех невесёлых загадках жизни и истории, которые мы называем «её ужасами».

Забыть? Но у меня, давно уже взрослой, до сих пор «ёжится кожа» на тех суставных сгибах, где по ней пробегал мороз (на локтевых и шейном) при одном воспоминании о страхе и издевательствах, пережитых в конце 1953-го да и в последующий год.

И у меня, разумеется, нет ни малейшего ответа на эти вопросы; пожалуй, его и не найти...

Смерть Сталина была событием серьёзнейшим, но никто из нас (кроме, может быть, моего деда?) не представлял себе, что ожидает нас в году 1954-м, да и вообще в будущем.

¹⁰ Амман – имя персидского злодея. Но то, что на иврите звучит как «узнай, Амман», означает всего лишь название печенья к этому празднику («уши Аммана»). Откуда оно взялось, не знаю.

А теперь пора вспомнить о той маленькой девочке, на это краткое время ещё не пытаюсь вновь ею стать. У меня-неё не было никакого представления, никаких мыслей о том, кем был в действительности И. В. Сталин. Однако в тот день я-она поняла что-то очень важное, именно не узнала, а интуитивно поняла, – и это определило моё отношение к нему на всю оставшуюся жизнь.

А всё, что я впоследствии постепенно узнавала, только подтверждало и укрепляло это... мнение? Нет. Подозрение? Да нет. Пожалуй, всё же именно представление.

Когда оно сложилось и стало чем-то определённым (примерно к двадцати годам), я уже знала, что у Сталина были разные профили, из них как бы два основных – справа и слева. Если посмотреть с правой стороны (с российско-эмигрантской, первой волны, после Гражданской) – хищный профиль хазарского кагана (он же и царь Ирод Великий). А если посмотреть со стороны противоположной (левой и в своё время коммунистически настроенной, но также к тому времени не только натворившей дел, но и натерпевшейся и претерпевшей) – профиль египетского фараона из другой ветхозаветной истории: о Моисее и Исходе из Египта. И оба профиля были угаданы верно – в нём была и макиавеллическая (завораживающая) хитрость первого восточного деспота из короткой династии Иродов, и бесконечное высокомерие фараона, земного бога, обрекающего на смерть и рабство, переселения и каторгу миллионы людей, личности и народы.

Но для более полного, а значит, и более истинного понимания важнее было постараться увидеть это лицо не только в профиль, но и в наиболее чёткий из его полуанфасов. И тогда – прежде всего, раньше и больше всевозможных личин – оно оказывалось лицом отступника. Человека, не просто утратившего веру в Бога – определённую, конфессиональную, – а резко порвавшего с Богом, ушедшего из семинарии сразу в революцию (причём в такие её крайности, как террор и экспроприаторский грабёж), поправшего и разорвавшего перед этим в открытую оба Завета – и Ветхий, и Новый. То «обезбоживание», которое у других происходило в течение двух, а то и трёх поколений рода, в его жизни свершилось за какие-нибудь полгода или полчаса. Он и был человеком исторической минуты, всего лишь, но эта его «минута» продлилась отчего-то тридцать лет, а не два-три года, как у Робеспьера или у великого предшественника Ленина.

Но в духе антиномии (не марксистской) тут же возникает и другой его полуанфас – Великого Инквизитора из легенды в «Братьях Карамазовых» Достоевского...

И пока что не надо больше о нём, ведь мы остаёмся в пятидесятых – и вот чугунного литья, с коваными копытами битюги уже умчали его катафалк в те глубины Преисподней (возможно, левые? Или правые? Да разве *это* важно?), о которых в своё время писал Дант и где он, быть может, и продолжает над кем-нибудь властвовать, но да минует нас чаша сия, как миновала в этой жизни. Кони мчатся тяжеломерно и стремительно сквозь этот день в навсегда. «Узнай» – и прощай же, – «Амман».

(Перерыв в Отступлении на вечер этого дня)

...Я вернусь ненадолго в вечер того же дня, когда я впервые увидела дедушку молящимся торжественно и радостно, в чёрном старом сюртуке и в чёрной же, слегка потёртой на сгибах полей, шляпе. Он молился со слезами на глазах, а я думала: «Что с ним? Отчего он так? Почему мне так невыносимо тяжело, а он...» Дед не только впервые молился при мне открыто, он зажёл свечи, поставил на стол хрустальные «кубки» – как в сказке! – и бутылку красного вина, которое предложил из «кубка» (это был старинный резной высокий стакан с фигурной подставкой и витой ручкой) пригубить и мне...

Но он никогда потом не отмечал годовщину этого дня. Он говорил со мной в тот вечер как с большой, и мне стало при этом намного легче, почти хорошо. Но больше половины сказанного, как часто бывало у нас во время серьёзных разговоров, я не поняла. Запомнилась только фраза: «В наши дни, пожалуй, никого уже нельзя проклинать, кроме человека,

поднявшего руку с целью насилия и убийства на ребёнка – от новорождённого и старше». И я пыталась вдуматься (но безуспешно), о чём же он так серьёзно говорит. Но не уверена, что вполне понимаю его и сейчас.

Отступление 1-е, продолжение

...Но так как большую часть этого отступления пишет (приходится повторить) человек давно уже взрослый, ограничиться этим, пожалуй, нельзя. Пуримшпиль¹¹ с участием Фараона и Великого Инквизитора – да, для нашей семьи всё, быть может, этим и ограничилось бы, кончившись относительно хорошо...

А для Отчизны, для огромной и великой России? Нельзя забывать ни о чём: он был и Божиим бичом для неё, её новейшим Аттилой, но он же был для неё и тем, с чьим именем («За Родину! За Сталина!») умирали солдаты в Великую, вторую по счёту за два века Отечественную войну. Неоднозначность и многоликость этой исторической личности – своего рода Емельяна Пугачёва, последнего мужицкого царя, но не простого, а «идеологического Самозванца», оказавшегося надолго на вершине власти, «мятежника и вора», по определению старинному и законному, однако же, выигравшего непонятно как и «ими же веся судьбами» великую народную войну вместо законных царей... Эта неоднозначность – не сродни ли она исторической загадке самой России?

Российский народ выносил татарское иго почти триста лет, затем полтораста лет выходил из него, но до конца так и не отошёл, ибо закончилось это Иоанном Грозным, прекращением династии (по мужской линии) и Смутой.

Затем почти триста лет он нёс на себе всё «крепчающее» крепостное право, выйти из которого, по сути дела, даже не то чтобы не сумел, а не имел на это исторического времени. При том, что восхваляемые в наши дни столыпинские реформы разрушали крестьянскую общину и подрывали не только те силы на самовосстановление, которые народ, к тому времени успел собрать, но и сами его исторические устои, те «три кита», которых, по большому счёту, не коснулись ни татарское иго, ни крепостное право...

Мне скажут высокомерно: «Опять вы про этот первобытно-общинный строй?» Да, многие так думали, так считали марксисты и Плеханов слева... А справа – Столыпин и растущие земельные магнаты, но «из сказки-то слова не выкинешь». К тому же никакие не сказочные, а евангельские общины первых веков апостольской церкви существовали ведь исторически, но первобытными никак не были.

Всё не так просто, как многим из нас хотелось бы, и крестьянский («христианский», но с явной примесью слова «крест») русский мир недаром хранил, хотя бы в заскорузлой, ограниченной и замершей форме, эти корни, начаток христианско-общинной жизни в течение долгих веков. Это определяло во многом и его, и всей России национальное историческое самосознание.

«Мужицкий последний царь» Иосиф Сталин не придумал колхозы – он вообще ничего не выдумал и не открыл: он просто соединил – кое-как и как пришлось – аракчеевские поселения с уцелевшей легендой об этой крестьянско-общинной жизни (а на самом-то деле с реальностью крепостного права) и осовременил это соединение – так и получились колхозы. Это не было талантливо, но... Да в чём же дело, откуда это «но» всё-таки берётся?

И тут выплывает совсем другое, идущее от мыслей Достоевского. Быть может, народ всё же, опомнившись, нуждался в искуплении своей вины (смута, богоборчество, разрушение храмов) и в наказании – на уровне коллективного бессознательного? Всеобщий, общинный разбой и – потом – общее искупление? Вспомним рассказ одного из персонажей

¹¹ Действо, представление праздника Пурим (*идиш*).

Достоевского, странника Макара Ивановича, о солдате, которого присяжные за убийство оправдали, а он после этого взял да и повесился? (А послали б на каторгу – остался бы жив?) Рассказ этот не выдуман; вероятно, он взят из газет, как случай из жизни.

Не был ли весь сталинский строй этой коллективной, колхозно-лагерной, но в общем-то, быть может, и потребной тогда для российского народа каторгой, той «общей участи чашей»¹², которая мало кого в те времена миновала?

Не было ли это (на всё том же общенародном и бессознательном уровне) чем-то неизбежным? И более понятным для народа тогда, чем, быть может, в наши дни, когда происходит запоздалый возврат к капитализму, столь же противоестественному для российского сознания, как революционно-доктринёрский и насильственный «социализм» двадцатых годов? И народ вновь чувствует себя Иваном-дураком, обманутым и выставляемым, да ещё и напоказ, из родного дома?...

Да, ни о чём не следует забывать, и мы не знаем, чем кончится всё это в наши дни, не прогремит ли вновь, как гремела она с 1941 по 1945 год, знаменитая увертюра П. И. Чайковского «1812 год»? Впрочем, в России-то гремела именно она и родственная ей музыкальная стихия (а не бунтовская их подмена) – в патриотических Отечественных войнах...

В 1941-м война началась с того, что человек этот, вождь, обратился ко всей стране со словами: «Братья и сёстры!» – и страна поверила ему несмотря ни на что. Но не было у него самого ни братьев, ни сестёр, ведь он ещё в бытность свою семинаристом отрёкся от их родства и от Бога. А затем «искоренял» в довоенные годы все конфессии как таковые, православие в первую очередь. Боролся, как полумифический арабский султан Саладин (пожалуй, ещё один его полуанфас), не только с крестоносцами, но и с самим Крестом Господним.¹³

Не из-за того ли, что никаких «братьев и сестёр» на самом деле у него не было, мы, послевоенные, в большинстве своём остались по-настоящему без родных братьев и сестёр, множество детей так и не родилось на свет, а мы оказались «волчатами наших дворов» (в стране же всё продолжались, как при нём до войны, так и после него, повальные аборты)...

Два великих русских писателя советской эпохи (в тридцатых) смотрели на него с куда более идеалистически отвлечённых точек зрения – и, более того, с покорно-фатальной влюблённостью, создавая из него, пожалуй, нечто большее, чем упомянутые профили и полуанфасы.

Булгаков писал отчасти с него образ Воланда, смахивающего как мух всяческих «лихоеевоых» (фамилия не случайная!) с лица земли и «куда подальше» и презирающего людей (людишек?) во имя высшей идеи державной власти и миропорядка.

Пастернак заворожённо мечтал о том, чтобы «поговорить с ним о жизни и смерти», как будто он знал о них нечто трансцендентное и доступное лишь пониманию вождя и гения. Но Булгаков жил недолго, а Пастернак в старости вспоминал об этом с мучительным стыдом.

Впрочем, поговаривают, что сложнее обстояло дело и с Булгаковым, что он разделял мнение Зарубежной церкви, основанное на дивеевских и оптинских предсказаниях о приходе к власти предтеч Антихриста. После чего вполне возможно и фантастическое, краткое посещение России *самим*¹⁴...

...И получается, что и со всероссийской точки зрения остаются, пожалуй, всё те же литые чугунные, постаментные битюги с тяжеленными подковами, продолжающие мчать

¹² Из стихотворения автора.

¹³ Согласно арабскому апокрифическому преданию, в битве с крестоносцами, принесяшей ему победу, Саладин разрубил Крест Господень на мелкие части, которые потом были собраны и разсланы по храмам христианских стран.

¹⁴ Самим Антихристом.

его в глубь той или другой (правой или левой, что не столь важно) частей Преисподней. А Отечество наше продолжает нести свой крест и держать ответ перед Богом...

Отступление 1-е окончено

Глава первая. (продолжается бегом, чтобы поскорее кончиться, да только это у неё не получится)

Итак, этот день пришёл, произошёл – а затем и прошёл. И несмотря ни на что, следующей осенью я всё же оказалась в одном из кружков Дворца пионеров, но почему-то не в литературном, а в театральном (меня перехватили из-за высокого роста – на эпизодические «взрослые» роли из нескольких слов), а мне было всё равно. С полнейшим безразличием проходила я мимо памятника Великой Екатерине на пути туда и обратно, а травля и охота на меня в классе продолжались, с перерывами и с переменным успехом, пока в середине осени, но только уж пятого класса, я не упала без сознания в прихожей, собираясь в гастроном с пустым молочным бидоном в руках.

Незадолго перед этим я болела свинкой и не вполне ещё поправилась, а то, что случилось, было непредсказуемым развитием болезни. В детской больнице Раухфуса первые два дня говорили о состоянии шока, а потом заговорили об энцефалите как осложнении после свинки. Выписали меня через два месяца с туманным диагнозом «псевдоэнцефалит». В больнице этой, приходя в себя с трудом, я впервые за полтора с лишком года, прошедшие после случая с Валентиной и тётёй Алей, жила наконец-то обыкновенной и даже обычной жизнью, подружилась с одной девочкой, помогала умыть и кормить малышей. И часами рассказывала им сказки, а им всё было мало, они ходили за мной и требовали ещё. Это был пик достигнутой мной в жизни популярности. Но я как-то этого не заметила (при всём своём самолюбии), ведь мне так нужны были тогда всего лишь отдых и человеческое тепло.

Впрочем, справедливости ради должна сказать, что некоторое смягчение моей участи началось ещё в четвёртом классе. Наш новый завуч и будущая учительница литературы (именуемая старшими школьниками просто Евгешей) как-то раз, проходя мимо меня, выставленной из класса в коридор со свежим синяком на лбу, взяла и увела куда-то в закуток. И вдруг, крайне для меня неожиданно – до испуга – обняла, сама при этом плача и лаская мою короткую косу со словами: «Потерпи ещё совсем немножко, моя хорошая».

Новые веяния давали себя знать, но вот четвёртый класс пролетел – медленно ли, быстро, но он кончался. И нас уже соединяли с мальчиками, а с ними пришёл и двор-второгодник (блатной мир второго и третьего дворов), и началась весенняя «вакханалия».

Почему родители не перевели меня в другую школу ещё той, первой весной? Да потому, что меня ни в какую нормальную школу и не взяли бы, на мне было клеймо, я «была поставлена на учёт там, где следует» и должна была ожидать перевода в специнтернат с последующей (со временем) высылкой в лагерь.

Впрочем, всё это было до выписки из больницы, а затем многое начало изменяться, – об этом потом...

Выздоровливая, я почти перестала расти, я так и не стала великаншей, не оправдав ожиданий, хотя долго ещё была одной из самых высоких девочек в классе, где училась до окончания школы, до выпускного бала. Училась в среднем на «хорошо», если не считать перерыва в пятом, когда пришлось догонять класс после болезни. Меня давно уж и не обижали (почему – и об этом позже, в своё время), и всё же история эта имела конец, во многом отличающийся от хэппи-энда.

...Но интерес к жизни возвращался, вернулись одна за другой и её радости, начиналась иная пора – полоса моих «безумных» увлечений: вначале Эрмитажем, его зачарованным миром, затем трофейными кинолентами, которые прокатывали тогда совсем близко от дома, в кинотеатре «Титан», а затем и настоящей историей в Публичной библиотеке для школьни-

ков на Фонтанке. Не вполне как предметом, а казалось бы, всерьёз... но, увы, и с поисками в ней всё тех же сюжетных линий, сиюминутных и вечных, как бы из серий кино...

Появились из-за кулис подружки, друзья, новые и старые ...и всё это напоминало немного ту постановку из нескольких сказок сразу, то попури из Андерсена в театральном кружке Дворца пионеров, где я исполняла сразу несколько мелких, почти немых ролей. И в частности, дефилировала в перешитом мамой из немецкой трофейной шторы длинном хвостатом платье фрейлины по залу. И сидя за роялем, играла, делая вид, что пою (пела по-настоящему преподавательница музыки): «Ах, майн либер Августин, всё прошло, прошло»...

Такова была вкратце и вчерне моя «самая страшная сказка», к отдельным эпизодам которой я не раз вернусь. Я рассказала её содержание вопреки всем законам повествования, требующим, чтобы читатель ничего заранее не знал. Однако всё оказалось иначе, и не только потому, что хэппи-энда не получилось. Да, моя собственная детская сказка в своё время кончилась, но ничто не прошло, и сколько всего несчастно-счастливого было ещё связано с ней впереди.

Да и всё, сказанное здесь напоследок, говорилось совсем не для того, чтобы предвредить. Нет, лишь чтобы на время прервать, отложить продолжение и окончание...

Дело в том, что мне хотелось бы прежде рассказать немного о доме, где я росла, о родителях, в частности о маме и о моём единственном деде (мамином отце) Илье Израилевиче. А также и о том родственно-близком и дальне-разном окружении, не будь которого, я была бы иной, и всё кончилось бы для меня то ли лучше (или хуже), то ли просто иначе. Ведь кроме внешнего школьно-дворового мира и «кокона» моего детства существовали ещё и вполне обитаемые, реальные внешне-внутренние миры. Например, мир нашей большой коммунальной квартиры, а в ней – мир комнаты и уклада нашей семьи.

«Семейные истории и фотографии» (О семейном укладе и о наших «домах» в коммуналках)

Посвящается И. Д. Л-ну

Конечно, уклад семьи тоже был уязвим, и всё же рядом с ним мой «кокон» был как скорлупа пёстрого живого яичка по сравнению с устойчиво поставленным яйцом, выточенным из самоцветного камня. Впрочем, и это «яйцо», попади оно под гусеницы танков или брёвна лесоповалов, конечно, не уцелело бы, но ему относительно повезло...

Мне следовало бы начать эту часть книги с родного дома на Владимирской, главного центра моей детской жизни (и этой повести), но пока что ограничусь словами Окуджавы «К нему-то всё, как видно, и вернётся».

Были и ещё два дома, где я была своей, а не просто частой гостьей: комната дедушки на Петроградской и комнаты сестры отца, тёти Сони, на Васильевском.

Но не по старшинству и не по предпочтению (хотя быть может, и следовало бы так) я начну с дедушкиного дома. А всего лишь по той простой причине, что все ранние, но связные и последовательные мои воспоминания, да и первые яркие, но нечёткие снимки памяти, несомненно относятся к нему. И что в его присутствии они стали отчётливее, проявились и закрепились.

Рассказ первый. Снимки дедушки и его домашнего уклада (а заодно и о моём раннем детстве)

1. Ранние снимки

Итак, первые снимки памяти связаны с ним, но они до такой степени «архаичны», что мне придётся начать рассказ о дедке с самого начала моей собственной жизни, крайне неясного и туманного.

И поневоле получится, что это только вступление темы дедушки, неотрывно вписанное в первые – сначала два года, а затем и шесть-семь лет – моей жизни.

Если верить рассказам родственников и любительским фотографиям из реально существующего альбома (до школы и событий, вкратце описанных выше), я была жизнерадостной, общительной и открытой девочкой, но сама я этого совсем не помню.

Сохранился один очень старый подлинный снимок, сделанный в 1946-м, в первое послевоенное лето. На нём дед (я звала его «дедя, дединька!»), ещё очень худой и истощённый после войны, но радостный и трогательный старик, лежит в гамаке на даче во Всеволожске, не просто держа, а слегка подбрасывая меня на руках. Так, что я парю над ним невысоко, как толстенькое, но немножко эфемерное существо вроде Питера Пэна¹⁵ или просто из мира птах. Всё сколько-нибудь интересное о себе до двух лет я узнавала благодаря деду. Для него было важно всё, что ко мне относится, например то, что начиная примерно с шести месяцев, я упорно пыталась заговорить, но меня вначале никто, кроме него (из-за моих естественно плохих дикции и русского) не понимал. Пока я говорила вещи, весьма для младенца обыкновенные, такие как «Ине дать!», например (называя при этом себя Иней), понимания окружающих было мне вполне достаточно.

Но после семи месяцев от роду я стала пытаться выговаривать более сложные слова. Дедушка очень мне сочувствовал, он и сам говорил по-русски недостаточно чисто и правильно, с отдельными местечковыми словечками и акцентом, от которых так и не избавился до конца. Но он счёл нужным обратить внимание мамы на то, как, показывая на лампочку, я изо всех сил стараюсь выговорить «элек-три-ка». После этого она стала чаще со мной разговаривать, мы учились понимать друг друга, и она старательно исправляла мои ранние речевые заскоки.

Понимала ли я дедушку так же хорошо, как он меня? Нет, нужно сознаться, что будучи в семье наиболее родным мне по духу, он только на первых порах был мне совершенно понятен, а после (и чем дальше – тем более) нередко выходило так, что именно он как раз и оказывался самым таинственным из всех моих ближайших знакомцев.

Дружба наша зиждилась изначально на взаимопонимании не то чтобы достаточном (согласно языку математики), а наиме́ншейшем, на уровне «Джейн – Тарзан» из популярного в те годы фильма (который, кстати, меня невольно заставили смотреть слишком рано – мама не могла ходить в кино без меня. Так что я не поняла в его сюжете ничего, кроме самого главного и ещё – комического и страшного).

Но ещё крепче стояла она на том, что мы безо всякого труда, легко и естественно доставляли друг другу радость, как это бывает только у влюблённых на первой стадии романа и у малышей со стариками, – но избирательно и далеко не всегда. Ребёнок, как пра-

¹⁵ Питер Пэн (один из популярнейших в детской мировой литературе) – герой повести Д. М. Барри «Питер Пэн и Венди».

вило, вовсе не глуп в своей инстинктивной любви, он знает, кто ему больше всех полезен и нужен (мама), кто в семье всех сильнее (отец) и на кого просто хочется быть похожим. Но если у него есть возможность, он выбирает себе кого-то и для души. Например, в романе Диккенса «Домби и сын» у малыша Поля, потерявшего маму при рождении, был большой круг «друзей и почитательниц», но для души он выбрал себе няню-кормилицу, простодушную Полли Тудль, лишившись которой, он почему-то даже больше страдал и болел, чем после первой и самой важной своей потери. (Хотя, конечно, он не остался без детского питания тех дней, когда трава, воздух, коровы и, наконец, молоко были получше нынешних.)

Я тоже выбрала дедушку не как образец для подражания и не как самого нужного (и из нужды любимого) члена семьи, а просто для души. Но конечно же, он всегда был и нужен нам с мамой как никто другой...

И так как любовь возникла в раннем детстве, о котором не осталось связных и разумных воспоминаний, придётся перейти к стёртым любительским эпизодам из живого альбома памяти. (Все близкие звали меня тогда Иринкой, а дедушка – нет, он часто обращался ко мне более своеобразно и ласково, а приструнивая, строго говорил Ира.). Нужно сказать, что среди снимков есть, казалось бы, более бледные и далёкие, но очень ясные. Память начала фиксировать их ещё в «детское время», но свои особенности они сохраняли и позже, это своего рода монологи из давних лет. Отделив их от остальных, я назову их отголосками, они были сделаны ребёнком, а затем и подростком, но я не стану восстанавливать в них детскость, а оставляю их такими, какие у меня есть сейчас.

Отголоски ранних лет

Дедушка живёт довольно далеко от нас – на Петроградской, на углу Кронверкского и Зверинской. Последняя была названа не просто так, а потому что там, где тянется узкий, длинный сад (частично ограждённый решёткой от шумных трамвайных рельсов), находится Зоопарк, в котором есть множество настоящих зверей. Каждый раз я упрашиваю дедушку зайти на «пять минуточек» в Зоо во время наших прогулок, и почти каждый раз он соглашается, хотя денег на билеты у нас с ним нет (меня ведь отправляли к нему на день-два с продуктами и мелочью на проезд). Ни с кем впоследствии я так не любила (да и не хотела) туда ходить. Звери при дедушке ведут себя, как и я, общительно и безбоязненно, хотя, разумеется, нас от них отделяют клетки и другие меры предосторожности.

И тем не менее в этих прогулках по Зоопарку было немного (а много ли мне было нужно!) и от театра Дурова, мне тогда, естественно, неизвестного. Кто-то из зверей резвился вблизи, кто-то (большой мишка) протягивал сквозь прутья решётки лапу, с одним из тюленей мы вместе по очереди неуклюже (в мои три года) прыгали, слона можно было кормить булкой из рук, лев (львёнок?) рычал совершенно по-свойски, не очень страшно, а побаивалась я только тигров. (И боялась змей, конечно, но в серпентарий мы и не ходили.) Мы бывали в Зоо и по субботам, и в будние дни – во время наших выходов из дома (от часа дня до трёх), когда посетителей было очень мало, но и тогда наше общение с миром зверей было всё же не единоличным, кто-нибудь из детей и взрослых был рядом, так выходило даже веселей.

Дедушка не позволял мне проводить там столько времени, сколько мне бы хотелось, и получалось, что даже в лучшие дни мы гуляли и вне Зоо, в узком и длинном саду около часа. Дедушка прихрамывал при ходьбе, он опирался на суковатую и как бы отполированную временем, с моей точки зрения совершенно восхитительную палку. Иногда он садился на скамейку, ставил палку рядом с собой и задумывался. У меня было негласно установленное право играть с ней, но только поблизости. При этом палка (прекрасная и сама по себе) почему-то немедленно превращалась в небольшого и смирного, деревянного, но резвого пони, удобного и удивительно понятливого, даже быстрого. И мы с палкой пони ска-

кали, и не всегда умели вовремя остановиться, а иногда, напротив, ускокивали далеко и мчались стрелой по длинной садовой стороне улицы.

В таких случаях дедушка нас не звал, он просто вставал и поспешно шёл за нами, но при этом сильно прихрамывал. Каждый раз, когда я так забывалась, я ещё не успевала вспомнить о нём, как уже издали видела его, спешащего ко мне (и как всегда, прямого и лёгкого), но явно хромого. Краска стыда неизменно обжигала мне лицо, бывали и случаи, что я плакала, умоляя его простить меня, при том, что он и не думал сердиться. Он молчал, так же мало реагируя на то, что считал сентиментальностью, как и на самую мою выходку, но молчал спокойно и благодушно. И наконец (какое облегчение!) просто, как всегда, улыбался мне, и улыбка эта означала «мы с тобой друзья».

Дедушкина комната, в которой он жил вместе с одинокой старшей дочерью, моей тётёй Беллой (или Бэбой), почти такая же большая, как наша, по сравнению с ней казалась почти спартанской и была обставлена довольно скудно. В ней стояла мебель недорогая, плохо починенная, отчасти старинная, но также и обыкновенно (или неказисто) советская. В комнате было много пространства, не заставленного ничем, что меня очень радовало. К тому же в ней среди других имелись очень интересные старые вещи, которых у нас не было: например, печь-голландка с настоящей каминной полкой и большим устьем и четвероногий стол, небольшой, но с массивной квадратно-скруглённой столешницей. За этим столом дед обычно сидел и читал, но он был и обеденным. Он выглядел бы без скатерти беднее, обшарпаннее нашего круглого раздвижного стола из орехового дерева и гораздо беднее трофейного письменного стола моего отца (с бронзовой лисой на круглой мраморной подставке). Но он был чем-то лучше их, таких столов я нигде больше не видела. На нём стояли большая лампа и коллекция крымских раковин, одна в другой (тётя называла самую большую и плоскую из них пепельницей, но никто туда ничего не бросал). На дедушкином рабочем месте (как бы угол, но в четверть стола) никогда не обедали, скатерть с клеёнкой под ней кончались, не доходя до него.

Там помимо двух-трёх обычных книг неизменно лежала большая двухтомная Библия (как мне казалось, два кирпича в коричневой телячьей коже) на двух языках, иврите и русском, изданная то ли в Риге, то ли в Германии, так что и какие-то вкрапления немецкого в ней тоже были.

В комнате были и другие достопримечательности, одна из них – старые чёрные настенные часы с потускневшей позолотой на циферблате и большим маятником, который казался мне золотым, но отнюдь таковым не был, зато отстукивал секунды очень отчётливо, напоминая этим, как ни грустно, метроном времён блокады. Но стук его сопровождался лёгким стрёкотом, почти незаметным, таким же звонким и тихим, как у маминой швейной машинки «Зингер», которую отец называл «кузнечихой» (от кузнечика). Часы казались мне очень строгими (такие чёрные, длинные, узкие), но и уютными, они были вполне соприродны дедушке и его «письменному уголку».

.....

Сейчас я подумала, что дед, быть может, и не всегда был тем кротким и спокойным человеком, каким я его вспоминаю. Ему выпала очень трудная жизнь, в ней несомненно бывали моменты гнева, тревоги и печали, а в молодости он обладал исключительной физической силой, и его пышные каштановые усы на фотопортрете более чем сорокалетней давности, которые просто восхищали меня и казались не то генеральскими, не то вообще чуть ли не императорскими, – на самом деле в те времена, когда они были в моде, назывались всего лишь фельдфебельскими... Мог ли он быть тогда военным, например? Странно, но я как-то не могла себе этого представить.

2. История дедушки

Краткая биографическая справка

Вот то небольшое из его биографии, чем я располагаю как краткой справкой: родился в 1877 году в семье раввина (из потомственных хасидов) в посёлке Хиславичи на Смоленщине. Был старшим из детей и шестнадцати лет потерял родителей, оставивших ему домик, сад и пятерых своих младших. И он бросил учиться на раввина (как было ему предназначено сизмальства) и пошёл сначала в извоз, а потом долгие годы перевозил лошадей в спецвагонах по железным дорогам всей России. Так, разъезжая с табунами по рельсам, он и «поставил на ноги» всех братьев и сестёр, притом основательно: один из мальчиков выучился на инженера, старшая из сестёр – на врача. Но высшее образование не было обязательным: младшая всю жизнь проработала маникюршей, а другая, несколько лет поучившись в гимназии, просто вышла замуж за будущего учёного-математика («породив малую отрасль» детей и внуков, занимавшихся этой наукой на протяжении чуть ли не всего двадцатого века).

Сам дед женился поздно, в возрасте порядком за тридцать, невеста ждала его несколько лет, она была (по хасидским понятиям) родовита и могла выйти замуж только за человека «из хорошей семьи». Они мало знали, хотя и долго ждали друг друга, романа у них не было, любовь и согласие были чисто супружескими.

.....

Своих собственных детей, начавших появляться на свет незадолго до Первой мировой, они поставить на ноги не успели: старшему из сыновей только исполнилось семнадцать, когда моих деда и бабушку объявили лишенцами¹⁶ и сослали на север, за посёлок Выру¹⁷ вблизи Ладожского озера.

Это было во время коллективизации, когда изничтожали крестьянство как сословие (а заодно и пригородное мещанство с домиками и коровами заканчивало своё недолгое и не то чтобы независимое, но ещё не беспаспортное по форме существование).

Дом в пригороде Смоленска с садом, лошадью, коровами (и «мелочью» вроде домашней птицы) дедушка купил вместо отцовского домика ещё до Первой мировой, служа на железной дороге. После Октябрьской революции должность его была то ли упразднена, то ли передана в ведение Красной армии, к которой он отношения не имел. Пенсии ему не полагалось, жили они, как и все вокруг, пригородной жизнью, кормились своим двором, молоком и садом, что-то из продуктов продавали, деду делали заказы на продукты. Торговля была мелкой, дети помогали разносить молоко и яйца по домам. Когда взялись за эту «социальную прослойку», то до него дошли быстро: не потому, что был из обеспеченных или в чём-либо замечен, – просто он был личностью, а таких обязательно брали. Сыграло свою роль и то, что дед не подумал отречься от веры, хотя был и не из тех, кто выставляет её напоказ. Но по субботам он неизменно надевал свой долгополый чёрный сюртук и не слишком новую чёрную шляпу, отправляясь в далёкую синагогу. Этого, наряду с «дворовладением», хватило для доноса, суда и ссылки.

Они прожили вблизи Выры на Ладоге более десяти лет и, как ни странно, там прижились, хотя в первые годы у дедушки что-то случилось с ногой на лесоповале. Ему было уже

¹⁶ Лишенцы – люди, лишённые прав собственности, гражданства и работы, как правило, высланные.

¹⁷ Со слов деда такой посёлок до войны существовал (независимо от Выры в Гатчинском р-не). Сохранился ли он после войны и как называется теперь, не знаю.

больше пятидесяти пяти, он сломал и очень сильно застудил ногу, долго не мог ходить. Но к тому времени его младший брат (военный инженер) выхлопотал, чтобы деду заменили работу в трудовом лагере на простую ссылку в той же Выре...

Так они и стали жить: снова кормились огородом, дед рыбачил всерьёз, у них впервые в жизни появилось свободное время. Дети присылали им с оказиями книги, и он осуществил свою давнишнюю мечту, состоявшую из двух почти, но не совсем равноправных частей. Первая и главная заключалась в продолжении более глубокого изучения Торы¹⁸ (и вообще Библии), в том приобщении к ней, по которому он томился ожиданием более тридцати лет. Вторая была связана с давно задуманным изучением русского языка и углублением знакомства с отечественной литературой.

Как ни удивительно, всё это удалось им с бабушкой вполне, и мой высокообразованный отец, слегка иронизировавший над местечковыми особенностями дедушкиного русского устного, уважал, однако, литературные вкусы тестя и его круг чтения. Чехов, Толстой, мемуары, путешествия – всё это было обычно для людей его поколения, но не для местечка, где он прожил первую часть своей жизни. А бабушка Сима училась понемногу вместе с ним, и вышло так, что хотя первое время ссылки было для них тяжёлым (и они чуть не погибли), зато последние шесть лет оказались благоприятными.

По внешнему виду и образу жизни дед почти ничем от остальных жителей посёлка не отличался: волосы у него были каштановые с преобладающей сединой, глаза серые. Чёрный лапсердак он больше не носил, но продолжал соблюдать всё, что было положено по вере втайне (так это было и до конца его дней). Соседи, раньше в глаза не видывавшие евреев, принимали их за белорусских староверов.

Дети писали им всё чаще, тоска была взаимной, но при этом все четверо птенцов были уже вместе, жили дружно и друг друга поддерживали.

...Поднимать младших немедленно, через неделю после высылки родителей, приехала старшая из его сестёр, одинокая тётя Вера, всю жизнь работавшая врачом (двое же старших почти сразу уехали учиться в Ленинград, начав с техникумов). Она была очень хорошим человеком и терпеливо дорастила младших до окончания школы. Моя мама, четвёртая, была всеобщей любимицей, её тогда звали Розочкой (полное имя Рахиль). Она была послушной, хорошо училась в школе, в пятнадцать лет с успехом выступала в городской самодеятельности, а в семнадцать перебралась с тётей Верой к старшим брату и сестре в Ленинград, где закончила школу и через два года поступила в Консерваторию (на вечернее). Но вспоминать свои несамостоятельные и доконсерваторские годы она не любила и мне о них не рассказывала (к тёте Вере это отношения не имело).

Шаг в сторону

Как-то раз, сама уже став большой (но ещё не студенткой), я узнала – дедушки уже не было в живых, – что им всем четверым в разное время пришлось отречься от родителей и при этом иной раз чуть ли не «валиться в ногах у начальства» для того, чтобы уехать из Смоленска и стать «вольными», а не потомственно ссыльными (то есть лишенцами). Но всё это было вымучено для вида, Ленинград же был выбран, чтобы иметь возможность изредка видаться с родителями и пересылать им посылки с оказиями, а не только почтой. Ещё не закончив институт, но уже работая инженером-строителем, старший из сыновей Зяма вместе с дядей Михаилом, тем самым военным инженером, стал их «выхлопатывать». В конце концов им удалось их вызволить и перевезти в Ленинград.

¹⁸ Тора – Пятикнижие Моисеево. Но в иудаизме принято также называть Торой и всю Библию.

И мама выходила замуж за моего отца в двадцать два года, живя вместе с родителями на Зверинской. Но всё это было уже в конце тридцатых, во время Финской войны, а когда началась Отечественная, бабушка тихо, но твёрдо ответила маме на просьбу уехать с ней в эвакуацию: «Куда же мне будут писать с фронта сыновья?».

Итак, трудлагерь, ссылка с лишением прав (гражданства и собственности), короткий перерыв, затем ленинградская блокада – такова была вторая часть дедушкиной жизни, и ничего другого могло бы просто и не быть, но почему-то произошло чудо. В войну, как известно из рассказов очевидцев, происходило немало чудес. Дядя Зяма лежал после тяжёлого ранения в госпитале под Ленинградом, находясь без сознания более двух недель, а тем временем пришла следовавшая за ним, но всё никак его не догонявшая полевая почта с письмами от родителей и мольбами о помощи.

Очнувшись и встав на следующий же день, он (тогда уже майор по званию) наконец получил их и, невзирая на запреты врачей, без разрешения начальства, вообще не думая о том, во что это может ему обойтись, нашёл своего шофёра в том же госпитале. И на старом «газике», в бинтах они прорвались в город на Петроградскую сторону. Там он нашёл отца и сестру, обоих при смерти, и узнал от них, что «мама (моя бабушка Сима) умерла вчера, и её увезли в общую могилу неведомо куда». Не знаю, что он тогда чувствовал и пережил, но не медля ни минуты, он вывез дедушку и тётю по только ещё образующейся, обстреливаемой Ладожской дороге, сдал их в ближайший медсанбат с новосибирским адресом моих родителей, оформив им железнодорожные билеты и необходимые документы. И в тот же день (или сутки) успел вернуться в госпиталь, где ещё некоторое время долечивался перед фронтом.

Дедушка был в это время как бы без сознания (тётя Белла так и повезла его в Новосибирск), а придя в себя, он несколько дней тихо плакал. Под Новосибирском, живя у моих родителей, он ещё целый год болел и приходил в себя медленно, ему было уже почти семьдесят. С едой и там было плохо, правда, к их приезду мамой было насушено несколько мешков сухарей, они полагались к чаю не только как дополнительное питание, но и как своего рода десерт с ледяным (его держали зимой за окном) бруснично-клюквенным вареньем без сахара. У самой мамы давно началась дистрофия, у отца – голодный фурункулёз, посёлок Кривощёково ничем не походил на «хлебный город» Ташкент, а инженерный состав одной из крупнейших сибирских ТЭЦ кормили не намного лучше, чем зэка... Правда, тётю Беллу, как блокадницу, удалось устроить в поселковую столовую подавальщицей (официанток там не было), и ей было легче, чем им.

...Свою послевоенную жизнь, крайне скромную, нелёгкую, даже бедную, он воспринимал как долгий, ясный субботний вечер, до которого не думал и не гадал дожить: все его дети остались живы, родилась внучка. Это был эпилог его жизни, заключительная глава, и у него было только одно неисполненное желание – чтобы меня назвали в честь покойной бабушки Серафимой, Симой....

Остановка

Сейчас, когда всё ещё пишут – нет, не в России, а преимущественно в Европе, в мире, – о жертвах Катастрофы (Холокоста), в том числе и об уцелевших, иными словами – об осколках былого европейского еврейства, не обходится без переборов. В одной такой книжке воспоминаний мне случилось прочесть, как мама автора, человек праведный, говаривала: «Самой злой собаке – самый большой кусок мяса». Я не могу судить о степени дедушкиной праведности (хотя тоже считаю его в глубине души праведником, только малым и скромным), а также о его правоверии, ведь я не понимала в этом ничего (он же ничего особенного вообще не делал, а веровал втайне). Но никогда я ничего подобного от него не слышала, хотя нелишне вспомнить по этому поводу ставшую сейчас афоризмом цитату из песенки Ники-

тиных «собака бывает кусачей только от жизни собачьей» – я думаю, она ему понравилась бы.

Но вообще-то для дедушки (почему-то?) *почти* и не существовало ни злых (собак ли, соседей), ни хулиганов. Как это? Да вот именно так, и всё, – и это меня в нём изумляло... Удивление моё в таких случаях иной раз выплёскивалось, но этим дело и ограничивалось.

С собаками дело, впрочем, обстояло проще, чем с людьми. Видимо, в его представлении у каждой собаки была не только голова с ушами, но также и хвост, и два бока. Какая-то из этих сторон (многосторонней?) собаки обязательно была совсем не злой, и дедушка проходил мимо неё почему-то как раз с этой стороны. Никакие собаки при этом его не трогали (в прямом и в переносном смысле) и даже ни на кого в его присутствии особенно не лаяли. Хорошо ли это было? Думаю, что да, так как из своей маленькой пенсии кормить их – ни добрых, ни злых – он не смог бы, даже если бы захотел, а вот его внимательного и живого взгляда хватало на всех, в том числе и на собак, самых разных. Впрочем, работал ведь он полжизни с лошадьми, перевозя их и обихаживая. Так и научился понимать то, что поближе к человеку, если не вообще всё живое. Это было в простоте и больше всего напоминало две известные поговорки: «Доброе слово и кошке приятно» и «Даже и кошка смеет взирать на свою королеву» (*старо-англ.*), – но получалось это у него легко и действовало безотказно, а вот у меня – почему-то вовсе нет.

Мне вообще, как я уже писала, многое было не совсем понятно в дедушке, хотя не было человека на вид обычнее и скромнее его. Лет с семи меня стали поражать и некоторые его высказывания, но начиналось это гораздо раньше, ещё в те времена, когда наши беседы были крайне незамысловатыми, а мне было меньше пяти. Суть дела была в том, что он неоднократно пытался заговорить со мной о Боге, а я, замкнувшись в испуге, не думала отзываться...

Облик его совсем не казался нам с мамой возвышенным: его снижали акцент (но без характерной интонации) и маленькие, смешные ошибки в русском языке, которые он делал в общении именно с близкими, причём только в словах книжных или же бытовых, но редко употребляемых в обычной речи. Например, блюдце он так, то есть блюдцем, и называл, но вместо «блюдечко» (для варенья) говорил «блюдко», как в местечке. Возможно, такие словечки были его юмором: ведь едва ли он не мог выговорить слово «бульон» вместо смешного словечка «бильон», похожего на биллион (неслыханное богатство!).

(Прерывается)

Отголоски ранних лет, продолжение

...Итак, опять я играю в комнате, громко и чётко стрекочут стенные часы, а дедушка сидит, читает свои книги на русском и на непонятном языке, делает выписки в одну из больших, как гроссбухи, тетрадей. Всё просто и мирно, большая чёрная качалка с соломенной спинкой – это на самом деле дорожный экипаж, а я – и фореитор на запятках, и кучер (но не лошади!), а также и пассажиры, – конечно, не все сразу, а по очереди, так интересней. Сейчас мы проезжаем городскую заставу Ганновера (братья Гримм)...

Но в какой-то момент я отвлекаюсь от игры и поглядываю на дедушку – и вот мне уже интереснее смотреть на него, чем играть. Он при этом вообще меня не видит, он весь ушёл в свои книги и занятия, а я начинаю тихонько ходить вокруг стола, но вовсе не шалю при этом, а думаю серьёзно: «Чем же так отличается дедушка ото всех, кого я знаю?» Я не могу ответить на этот вопрос, я чего-то не понимаю, а знаю только, что дедушка – самый таинственный из всех, самый старинный, и мне здорово с ним повезло. Моё непонимание почему-то приносит мне не больше огорчения, чем незнание языка иврит, на котором напечатаны оба толстенных тома Библии.

Ну и пусть, ведь мы с ним говорим на всеобщем языке с самого начала, с самого моего рождения. Это язык, объединяющий людей (взрослых и малышей), животных в Зоо, попутно и птиц, листву, кусты и траву в саду, это всемирное эсперанто, на котором говорят и серьезно, и неслышно напевая про себя, и молча. Пусть я не умею на нём ни читать, ни писать, пусть я знаю благодаря дедушке только самые начальные слова, его азы. Я не имею понятия, насколько правильно и свободно на нём говорит он сам, я знаю только, что это – хорошо...

(Прерывается)

Остановка, продолжение

Читатель, привыкший к тому, что всех нас сейчас пичкают всевозможной эзотерикой, не подумай, пожалуйста, что речь идёт о каббалистике или о мировоззрении, ей родственном. Я была рождена под знаком не шестиконечной звезды Давида, а восьмиконечной Вифлеемской звезды, хотя дошло это до меня значительно позднее, да и дедушка мой был всего лишь простым хасидом, он нигде не учился после шестнадцати лет. Нет, ни о какой религиозно-мировоззренческой концепции речи нет. Я говорю лишь о раскрытии осмысленного взаимопонимания на почти доязыковой глубине (существующего, с возможностями развития, как для дикарей и глухонемых, так и для мудрецов), но оно отчего-то так редко встречается, что мы о нём только мечтаем, пока малы, а потом перестаём и помышлять. Может быть, оно осталось ещё с эдемских времён первого человека Адама... Но если ты настолько экстрасенсорно начитан и развит, что сейчас разочарованно протянешь: «Только и всего!» – что ж, мне искренне жаль.

И ещё: всё же эта идиллическая картина субботнего вечера жизни деда в наши дни может показаться недостоверной. Но он принадлежал к определённому типу людей, ныне исчезнувшему (уже ни в России, ни в нынешнем государстве Израиль таких, как он, почти и не встретишь).

Краткое дополнение

Была, впрочем, некая печальная особенность в судьбе таких как он (впрочем, и не совсем таких, да и совсем не таких) в сталинской и раннебольшевистской России (сюда не относится хрущевский период и далее). Начиная с 1917 года их потомки, молодые еврейские атеисты, нередко достигавшие значительных государственных должностей, относились к этим «предкам» с глубоким презрением, как к живому анахронизму, отсталому элементу, людям, лишённым таких наиважнейших черт, как способность к социальному отщепеню, многовековое злопамятство и оскорблённая гордость. Впрочем, ведь нечто в этом роде в России тогда происходило в любой патриархальной среде...

Но судьба дедушки была всё-таки лучше многих других – его дети не покидали родителей, а всячески вызволяли. До такой степени, что в послевоенные годы платили ему общими усилиями вторую, существенно большую пенсию вдобавок к нищенской, полагавшейся от государства человеку «без стажа».

Совсем другой была судьба моего деда с отцовской стороны – Симона, так и оставшегося мне незнакомым (год смерти 1937-й). Его должны были осудить как «специалиста из бывших», его затаскали в ГПУ, так что он умер своей смертью чисто случайно, не дожив до ареста и суда. Мой отец был его младшим сыном, последним из пяти детей, но «поколения старших сыновей» этот мой дед боялся, что и было одной из причин, заставивших его работать в Зауралье и жить одиноко, продолжая при этом как-то (трудно и бедно) поддерживать семью. Я почти ничего о нём не знаю; жена его, моя бабушка Берта, тоже погибла, но чуть

позже, в эвакуации во Владимире, куда уехала со старшим сыном и внучкой, моей любимой кузиной Юной. Могилы обеих моих бабушек безымянны и неизвестны.

.....

Справедливости ради должна добавить, что мой единственный оставшийся в живых дедушка Илья Шагальский никогда не говорил со мной о своей «прошлой жизни». Его краткую биографию я постепенно узнавала от родных годы спустя после его кончины.

3. И ещё о нём, но позже (вплоть до пятого класса)

Во внешности дедушки, который казался мне таким непохожим на других, не было ничего примечательного, если не считать узкой бородки клинышком, которая (вместе с короткими усами) когда-то звалась эспаньолкой. Он был среднего роста, скорее худ и казался чуть выше из-за того, что не сутулился, а держался легко и прямо для своих лет, но он явно был стар, и ещё очень заметны были его большие впалые виски. Он носил тёмные, неброские, слегка поношенные и недорогие костюмы в чуть заметную на фоне ткани полоску, но и они смотрелись на нём «с достоинством». Самая же чудесная его особенность была совершенно незаметна на посторонний взгляд, её замечали только люди, достаточно хорошо и близко с ним знакомые. Она заключалась в том, что самый, казалось бы, обычный серый цвет его глаз отличался необыкновенной, светопоглощающей мягкостью. Мы с мамой называли этот серый, без блеска оттенок цвета пухового платка «серизной». Удивительным бывал порой этот его «иссеро-мягкий» взгляд, то светящийся незаметной, затаённой улыбкой, разумной и согревающей, то уходящий в себя и рассеянно-вдумчивый, как бы издалека¹⁹.

.....

А маме её недолгая жизнь с родителями до отрочества, а потом ещё более короткая (два года между их возвращением и её замужеством), вспоминалась как потерянный рай деликатных и нежных отношений в семье. Известие о смерти матери чуть не убило её, и так еле живую от туберкулёза, сибирских холодов и дистрофии. Она решилась во что бы то ни стало родить ребёнка, даже если это будет стоить ей жизни, во имя своей ушедшей мамы, бабушки Симы. Таким же по сути было и её отношение к деду. Они, как правило, не говорили ни о чём особенном, в основном о мелочах – о том, как прошёл день, об очередях и покупках, вообще о разных маловажных вещах, психологических и бытовых. Даже и вспоминали они чаще всего мелкие, казалось бы, события, понимая друг друга с полуслова. Но из любви она научилась понимать (хотя едва ли принимать) язык его теологии, а он (хотя едва ли серьёзно вникая в это) – её речи о музыке и театре.

К мужу, моему отцу, она привыкала долго и полюбила не сразу, вначале принимая его как надёжного, опору в жизни и защитника, отвечая ему уважением и благодарностью. Потом у них сложились прекрасные отношения в браке, жизнерадостные и лёгкие, это шло от неё, от её ощущения себя любимой; он называл её Ритёныш, она его в ответ с юмором – Мухой (его рост был метр девяносто, её – метр шестьдесят).

Но ей не доставало нежности, ей хотелось быть также и Бавкидой²⁰ (как её мама). Но отец жил по расписанию и пропадал на работе даже когда был дома, и «офилемонился» он (до некоторой степени) только когда им обоим было под шестьдесят. А отношения с дедушкой позволяли ей быть Бавкидой, пусть лишь в качестве дочери.

¹⁹ Окончание этой остановки о дедушке (но в средних классах) см. во второй части «Вокруг Владимирской», глава 10.

²⁰ Филемон и Бавкида – нежные супруги (*др.-греч.*).

Когда ещё дошкольницей в любые (а впоследствии – в летние) дни я просыпалась и вставала позже всех, то сквозь утренний полусон голоса мамы и бабушки сливались для меня в почти голубиное, глубокое, медленное и успокоительное воркование. Мне ничуть не были интересны их беседы, так как говорили они о вещах либо слишком уж повседневных, либо мне непонятных, но тем спокойнее и теплее было у меня на душе от их негромких голосов.

У бабушки была ещё одна общая черта с мамой – по отношению ко мне. Как и она в своей музыке (но об этом чуть позже), так и он во время наших серьёзных разговоров (с семи лет и старше) старался вложить в мою душу и ум слишком многое, торопился, боялся не успеть, а *оно* отчего-то не вмещалось в меня. Говорить об этом преждевременно, но я протестовала, изнемогала и возражала, понимая, что с моей стороны это *бессовестно*, но что притворяться – ещё хуже.

Никак не от самого бабушки, а от его бесед со мной о Боге, которого я боялась, я убежала в женское, в «женский мир», сначала только в Юнин (моей старшей сестры, племянницы отца), находящийся в стадии становления. И так, кружным путём, начинала вновь возвращаться к маме (всё более сближаясь с ней)... Так, переплетаясь, сходилась, расходился и вновь смыкался в поисках друг друга наш родственный многоугольник, как бы вписанный в круг, гибкий и изменчивый в своих очертаниях благодаря переменчивости времени и нашей с Юной невзрослости. Но для меня его центром притяжения долго ещё оставался бабушка. А на последние три года жизни Бог послал ему вторую внучку, Симу, дитя поздно женившегося дяди Зямы (но, увы, по метрической записи не Серафиму, а обладательницу более тогда модного имени – Светлана).

Дед никогда, казалось бы, не был одинок в своей не очень большой семье, старающейся дать ему всё, что она могла. Но вместе с тем, бывая уже подростком с ним – и в комнате на Зверинской, и на даче в Васкелове (где нам с ним досталась общая комнатка-боковушка), я невольно понимала, что бывает гораздо более глубокое и смиренное одиночество (да и проявляющее себя внутренне куда менее бурно), чем моё собственное – подростка в окружающей жизни.

Отголоски ранних лет, окончание

...Итак, я опять вспоминаю, что «всё это было хорошо», говоря языком Библии...

И я мчусь куда-то дальше на своей четвёрке лошадей, на старой чёрной качалке, вот мы уже в старой Англии, а бабушка продолжает читать и писать, пока не наступит время ужина. Перед этим придёт с работы тётя Бэба, а потом меня уговорят и уложат спать на узенькой старой кушетке, на которой никто, кроме меня, и не поместится (а кстати, почему? Уже тогда я была не меньше миниатюрной тёти ростом, но это не важно), и часы будут бить каждые полчаса и отстукивать свои секунды всё так же тихо-отчётливо, мешая мне спать, но я не стану возражать и против этого.

Но если вспоминать не только о любви, то уважение к нему близких было велико, оно её, пожалуй, и превосходило. Более того, он имел большое влияние на обоих сыновей и на зятя (моего отца), крупного инженера, человека с характером, никаким влияниям тогда не подверженного. Это проявлялось в том, что его отношение к людям как бы немного передавалось им (я расскажу об этом больше, когда перейду к рассказу о коммунальках). А также и в том, что лишь из уважения к нему они, три убеждённых атеиста, три раза в год собирались на главные еврейские праздники: весной на Песах, осенью на Новый Год и Симхас-Тойре (праздник дарования скрижалей Торы, привожу название на идише).

Впрочем, удивительно было вовсе не это и не традиционно вкусные, хотя тяжело-вато-замысловатые кушанья (кисло-сладкое мясо, аналог ягнёнка или козлёнка, и сшитая

шарообразно фаршированная куриная кожа, «кугл»²¹), а то, что в эти три вечера все они вдруг вспоминали начисто забытый ими иврит, который учили в раннем детстве, и по очереди читали тексты вслед за дедушкой. А заодно не только пили вино, но и дружно вспоминали и пели полузабытые песни, оставаясь при этом совершеннейшими интернационалистами и людьми своего времени (правда, беспартийными).

Самым близким к дедушке человеком, которым было как бы выпестовано отношение к нему всей семьи, была (конечно же!) моя мама. А дедушкиным антиподом, уважавшим его, но при этом не понимавшим и недостаточно любившим, была моя одинокая тётя Бэба, его старшая дочь, жившая вместе с ним.

Я не смогу разделить их, маму и дедушку, я ещё продолжу о нём, но пока, лишь ненадолго покидая его, я вернусь в свой дом, к маме, в нашу комнату на Владимирской площади.

²¹ От немецко-идишского слова «кугель» – шарик.

Рассказ второй. Мама и наш дом на Владимирской (Фотопортрет мамы)

1. История комнаты на площади

Владимирскую площадь в Ленинграде я считала местом своего рождения, хотя меня привезли туда трёхмесячной, а в свидетельстве о рождении почти правильно указан Новосибирск, где побывать мне (в реальной сознательной жизни) пока не довелось. В конце 1944-го и начале 1945-го все спешно возвращались в Ленинград из эвакуации, а те, кто не так уж торопился с этим, остались без прежнего жилья и легко могли потерять прописку, ставшую для жителей нашего послевоенного города одной из важнейших вещей на свете.

За несколько лет до этого мой отец, инженер-строитель, вскоре после окончания вуза в тридцатых получил авансом (тогда, после очередного из выселений коренных жителей, жильё молодым специалистам давали без проблем) маленькую комнату на Старо-Невском. Туда он через год привёл маму, а вскоре они переехали с доплатой в большую комнату на Владимирской, в коммуналке без ванной (так была когда-то разделена барская, во весь этаж, квартира). Но зато в прекрасном шестизэтажном капитальном доме в стиле «северный модерн», напротив церкви, давшей своё название площади.

Комната эта обладала высоченным потолком (почти в пять метров) и, более того, эхом, ютившимся в углах, а её единственное, зато казавшееся огромным окно-эркер выходило на площадь. Оно постоянно звенело – извне и изнутри. Извне – от шума троллейбусов, трамваев и машин на Владимирском и Колокольной, шума, который оно как бы заглушёвывало своим ответным звоном. Изнутри же оно звенело вместе с люстрой, когда мама пела свои оперные арии, романсы и песни. А занимаясь работой по дому и шитьём, пела она их днём почти всё время.

2. Мама и наш дом

Её голос обладал диапазоном от колоратурного сопрано до меццо, в консерватории ей прочили будущее, но он так и остался недошлифованным, обработанным не до конца, оттого что на третьем курсе она заболела чахоткой (туберкулёз в открытой форме) и была вынуждена взять академотпуск на год. Но через год она не выздоровела, а через два, когда была уже замужем за отцом, началась война. Я совершенно не представляю себе, как переносила она на тощем пайке сибирские зимы, как родила меня, как добиралась домой в эшелоне со мной трёхмесячной, да и как же выздоравливала в полуголодные (или просто голодные, а полу- только по сравнению с предыдущими) 1945 и 1946 годы.

Но ни слабой, ни худой она мне никогда не казалась, я вспоминаю её стремительной, весёлой и домовитой, как державинская ласточка²², и при этом по-испански (Испанию тогда ещё помнили), а точнее – по-сефардски²³ красивой. Она была тогда стройной, высокогрудой, двигалась легко, словно танцуя. Её миндалевидные глаза были огромны, длинны и бархатисты, или иначе говоря, они были карими с поволокой, чем-то под стать её голосу. Её лицо не выпадало и даже почти не выделялось из типа красоты тридцатых-сороковых, но при этом

²² «Домовитая ласточка» – женский образ из стихотворения Державина.

²³ Национальный тип внешности, сложившийся за несколько столетий существования еврейской диаспоры в Испании.

оно вполне могло бы по правильности тонких черт принадлежать ожившей статуе – впрочем, нет, скорее статуэтке, так как никакой иной богиней, кроме как домашней, она не была и не хотела быть.

...Впрочем, всегда ли так было? Её внешность и голос в консерваторские времена были данными будущей примадонны. В те годы она подрабатывала и в советской чёрно-белой рекламе как внештатная (из скромных служащих), но всё же фотомоделё. Вспомним, что в 1930-х рекламные и даже плакатные фотографии делались скорее для того, чтобы способствовать всеобщей приподнятости и бодрости духа (пусть в весьма «ложноклассическом» стиле, как гипсовая маска, как античный портик пира во время чумы. Но кто из молодых мог или намеревался тогда знать об этом?), чем из более близкого нам – по ажиотажу времени – стремлению «купить-продать».

Приработок этот давался ей легко, между делом, потому что училась она на вечернем отделении, а днём работала секретаршей в Академии художеств, где студенты в свою очередь пытались подрабатывать фотоснимками – кто ещё по примеру Кукрыниксов и окон РосТА, а кто и по западным образцам. В семейном альбоме хранятся все эти её юные довоенные фотографии: то в гимнастёрке на коне, то в развевающемся крепдешиновом платье, вот она – прилежная студентка, застывшая в строгой задумчивости на шкуре белого медведя, а вот – официантка в только что открывшемся большом ресторане. Но везде – эти её раскрытые улыбкой глаза, о которых я уже писала, крохотная бархатная (тоже цвета глаз) родинка, поставленная точно над скулой, как когда-то ставили мушки. Но никакого жеманства нет и в помине, напротив: какими свободными в движениях были её большие, прекрасной лепки руки! Да и сама её женственность отличалась естественностью и – почему-то хочется сказать так – широкостью, в ней ощущались щедрость и полнозвучье – как, впрочем, и у всех тогдашних красавиц, киноактрис и певиц...

Послевоенный быт, доставшийся ей, сам по себе был крайне тяжёл, потому что ничего не было, кроме хозяйственного мыла, керосина и спичек, да ещё сапожных щёток и ваксы, а также мастики и воска для натирки паркетных полов. Никаких вспомогательных хозяйственных средств не было, ванной не было, общая с соседями кухня была огромна, в ней было две газовые плиты (но каждой семье полагалось по полторы-две конфорки), и одна – на всё – общая раковина с краном холодной воды.

Отголосок, немного старше

Мама на кухне бывала не так уж часто, она разгородила нашу просторную (тридцать – впрочем, с чем-то существенным – метров) комнату на углы, но без перегородок, просто с помощью мебели, ширм и гардин. В небольшом углу около печки (и у входной двери) стоял старый чёрный, ставший кухонным столик (мне и в голову не приходило, что он чем-то очень похож на дедушкину качалку и чёрные стенные часы), там же стояли и кухонный маленький шкаф, и Мойдодыр-умывальник, там сушилось на верёвках бельё.

Великолепные же суконные (трофейные из Германии!) бордовые гардины с французскими коронными лилиями золотого шитья не только обрамляли высокие двустворчатые входные двери, но и продолжались наискосок влево, полностью скрывая этот «печной угол» от посторонних глаз. По другую сторону дверей, напротив «кухоньки» и тоже под углом, стоял большой гардеробный, также трофейный и орехово-дубовый (не зеркальный) шкаф, за которым находился мой спальняный уголок – металлическая узкая кровать с шарами и белым покрывалом и белые же стул и тумбочка, выпавшие мне из чьего-то (скромного и не нового) гарнитура. Весь он занимал пространство около четырёх квадратных метров, со входом от

дверей. Вход этот очень напоминал ту самую щель, которую наконец-то находит мышонок из одноименной сказки в стихах Маршака («Но нашёл он щель в заборе»).

Мой угол был треугольным, как парус, а в пространстве – трёхстенным, хотя из-за высоты потолка он всё же, пожалуй, больше напоминал колодец. Однако он был моим, и мне так хорошо в нём читалось и спалось.

Так при входе в комнату посреди этих двух углов естественно возникала маленькая «передняя», где гости могли оглядеться и положить сумочки на низкий квадратный столик с цветами.

Остальные двадцать семь метров тоже делились на части, но более естественно и откровенно. По обе стороны окна друг против друга располагались письменный стол отца со стеллажами (частично загороженные дореволюционным кульманом) и солидная тахта, рядом с которой символически стояли никогда не раскрывавшиеся ширмы красного дерева с японским шёлковым рисунком, они даже и не отделяли, а просто обозначали уголок спальный. Вдоль стен выстроились полированные заказные стеллажи с книгами, пианино и буфет – старый, но отлакированный и переделанный, со вставленными стёклами, тоже имевший вид «стеллажно-сервизный».

На стенах были фотографии, маленькие и большие, эстампы в тонких чёрных рамках, подвески для вьющихся крымских растений, и ещё везде – безделушки. Посреди комнаты, но ближе к эркере, располагался ореховый раздвижной круглый стол с тяжёлыми (чем-то сродни кульману) стульями. Занавеси на окнах были театрально-замысловатые: частью переделанные из старинных, частью сшитые из трофейных тюля и кисеи, – а гардины к ним были сделаны мамой (кстати, она шила в конце сороковых уже профессионально).

В самом же эркере, где-то в холодной его глубине находилось всё для ночлега родственников и гостей – раскладушки, матрасы etc., а также стояла мамина швейная машинка с педалью. Она была на колёсиках, она была «болтушкой», в отличие от мамы, то есть она то стрекотала, то замолкала, переезжая в комнату и обратно в глубь эркера.

Мир современной техники был в основном представлен приёмником «Эстония» и телефоном отца, порой неожиданно будившим нас по ночам. На его трезвон (но именно и только тогда!) отец вставал, разговаривал бодро, кратко и как бы находясь в позе команды «смирно!», так как звонил начальник главка, иногда и замминистра (и не в виде поощрения, а с указаниями и требованиями сверхсрочных доработок). Мне нельзя было подходить к нему вообще («телефон папин, личный»), а мама иногда (но не часто) разговаривала, подолгу, но больше – кратко. Телефон провели минуя коммуналку, по приказу из Москвы, что и давало начальству право будить отца по ночам. Но зато и мера ответственности была у него верхней – в одну из таких ночей он мог исчезнуть из-за невыполнения плана (о чём понятия не имела одна лишь я, а завидовавшие ему сослуживцы и соседи, разумеется, как бы не помышляли).

Приёмник (точнее, не сам он, а его зелёный глазок) был виден ночью сквозь щель между стеной и шкафом в моём углу. Этот глазок чем-то напоминал мне глаз кота, маленького, но уже не котёнка, а вполне котика, он успокаивал, он поддерживал наши надежды и незаметно, но доброжелательно влиял на погоду в доме. Большой мир, мир других городов и стран казался почему-то не враждебным (вопреки тому, как нас непрерывно учили с первого класса школы), а обнадеживающим и, кто знает, возможно, дружелюбно ожидающим своего часа.

Всё это, пожалуй, и незачем было бы описывать так подробно, если бы эта картина не была так отчётлива в моей памяти и так по-своему характерна для «семейно-солидного» быта тех лет. Впрочем, мама была эстетом, она сумела бы создать красоту и гармонию из ничего, для неё это было так важно – атмосфера уюта и некоторого артистизма, а для отца – пожалуй, буржуазности. Кому-то из знакомых это могло казаться излишеством, важнее было

иметь только возникающие где-то на Западе холодильники и телевизоры с крохотным экраном, пока похожие на приёмнички. А некоторые и тогда жили гораздо лучше нас – в отдельных (иными словами, делённых в энный раз) квартирках с ванными, спальнями и гарнитурами. И всё же мама выбрала, пожалуй, общепринятый стиль жизни. С точки зрения наших соседей мы жили хорошо, а на самом деле – в коммуналке без ванной, как и они.

Стирала мама в корыте (точнее, в моей бывшей детской ванночке) в большой общей прихожей, где пол, покрытый коричневым линолеумом, приходилось заново мыть после каждой такой стирки, готовила и мыла посуду в своём кухонном уголке. На общей кухне только ополаскивала её, варила в кастрюлях еду и отжимала бельё, а вот где она полоскала его, не помню. Я просто не осмеливаюсь утверждать, что стирка бывала перед банным днём и мы тащили сетки с сырым бельём с собой в баню и обратно. Правда, стирались, а затем и гладились лишь относительно мелкие вещи – наше личное бельё, рубашки отца и всё шерстяное, ситцевое и шёлковое, постельное же бельё отдавалось в прачечную, верхняя одежда – в химчистку. Раз в неделю мы ходили в Московские или в Воронежские бани, ведь те и другие были неподалёку. Но голову мне приходилось ещё раз намыливать и промывать на неделе – в тазу, всё в том же «печном углу». И там же сушить волосы, так как в школе было очень легко обзавестись вшами, а у меня с шести лет была «для серьёзности» толстая короткая коса. С расчёсыванием этой мягкой массы тонких вымытых и спутанных волос я сама не справлялась, мама мне помогала и в этом.

Я не помню её без дела: она готовила, шила, убирала, чинила, стирала, гладила до бесконечности, – но радостно пела при этом, как птица, и делала всё как бы танцуя. Совсем не так, как работали в те годы одинокие (да и вообще все) служащие женщины. Она умудрялась и петь по утрам – в хоре ленинградского радио, в церковном хоре, а изредка даже и в соседнем кинотеатре, но при этом всё же не «где и когда попало»: ей приходилось считаться с мнением отца.

3. Продолжение повести – на фоне маминого портрета

Её участие в жизни отца (обладавшей свойством респектабельности поневоле, так как она протекала на глазах у сослуживцев, удостаивавших его особым вниманием) исключало для неё какие-либо возможности петь, кроме утренних. Она брала и заказы по шитью на дом, но шила не из нужды, а для личной независимости (при её перелётном и лёгком «птичьем» характере окончательная форма зависимости, даже и от мужа, была бы для неё чем-то вроде длинной цепочки, прикреплённой к дверной ручке). Отец это понимал и говорил в кругу друзей, что мама делает из его зарплаты две своей домовитостью и что он неожиданно для себя выгодно женился (кстати, на поверку выходило, что это правда)...

...Наши «совместные прогулки» с мамой в конце сороковых и начале пятидесятых не отличались разнообразием. Мы вечно стояли в очередях – то в подворотнях, то в шумном окруженье Кузнечного рынка, где имелось много магазинчиков, мелких и лавочных, но зато очень дешёвых. Мы стояли то за яйцами в «Мясо-Птице», то за сахаром, крупами и мукой в «Бакалейных товарах». Всё это было каким-то темноватым, сомнительным, напоминало всё те же подворотни, и единственными стационарно-постоянными заведениями для меня оставались лишь «Аптека», «Булочная» и «Молокосоюз». Места, где мы стояли в очередях, как бы обходили рынок кругом и затем в виде отдельных, выскакивающих из ряда торговых точек шли вдоль Малой Московской и по Владимирскому проспекту (но больше по дворам), постепенно доходя до улицы Рубинштейна и даже до кинотеатра «Титан».

Но мы и близко не подходили ни к знаменитому Соловьёвскому гастроному, ни к не менее известному рыбному деликатесному магазину на этой улице недалеко от Невского. Там мама делала покупки только вместе с отцом – к праздникам, к приходу гостей. А мы с ней

возвращались из наших почти ежедневных походов нагруженные и обременённые сумками, так как покупки делались не только для нас троих, но и для бабушки с тётей; кроме того, иногда и для одинокой семьи сестры отца Сони, а порой и для заболевших или попавших в беду знакомых, как это было тогда принято (но, разумеется, только с согласия отца).

Наш повседневный быт и на самом деле был бы (а не только казался мне) скучным, тяжёлым и даже убогим, если бы не пение мамы. Она пела вопреки ему и всему вообще, но при этом и благодаря Бога, как птица, за свою счастливую – сравнительно! – жизнь с любимыми людьми и насущным хлебом. (О, как ценилось это в те послевоенные годы и как легко обесценилось потом).

Мне казалось, что дома она поёт всегда, но я так и не привыкла к этому: её пение и наша бытовая повседневность для меня резко различались – как будни и праздник, как ночь и день. И было что-то неуместимое детским сознанием, недоступное ему в их непрерывном и ежечасном (да что там – порой ежеминутном) чередовании...

Впрочем, радио отчасти способствовало вхождению музыки в быт, но его можно было выключить или просто не замечать. Когда я была ещё маленькой (лет трёх-четырёх), а мама поняла, что никогда не станет настоящей профессиональной оперной певицей, её пение поначалу просто обрушивалось на меня как ливень. Всё звенело вокруг, но я не понимала столь многого и чувствовала себя потерянной в этой материнской ночи, в стихии музыки, звенящей оконными стёклами и похожей на летний ливень зимой. Я была маленьким комочком, сжавшимся и беззащитным в разливе этой непонятной красоты, звучащей не по радио, а вживую и почему-то для меня одной.

...Раз в неделю по будним дням мы с мамой отправлялись в кино; это бывало тоже утром, но поздним, – в ходе покупок и за час до начала обеденного перерыва. Началось это с первого года моей жизни и оборвалось лет в шесть с половиной, когда я пошла в школу.

(Мой день рождения был незадолго до майских праздников, а через две недели после них мы, как всегда, уезжали на всё лето. Когда вернулись на этот раз, сразу же началась школьная жизнь, уже совсем другая).

В кино я сидела у мамы на коленях, так у нас повелось с самого начала и по привычке продолжалось. У мамы был очень хороший вкус во всём, это распространялось и на кино, но она прежде всего любила музыку. И поэтому мы чаще смотрели музыкальные фильмы – очень разные: от опер Мусоргского, Чайковского, Бородина (тогда в кинопрокате таких фильмов-опер было достаточно) до кинолент с поющей Любовью Орловой. Были и иностранные, трофейные, такие как «Голубой Дунай» и «Дунайские волны» (два совершенно разных фильма с почти одинаковым названием: грубовато опереточный с Мариной Рёкк – и раскатисто-певчески прекрасный эпизод из жизни Штрауса с белокурой Милицей Корьюс, летящей по волнам и лугам в вечном вальсе, нераздельном с пением²⁴).

От мюзиклов шестидесятых – семидесятых все эти фильмы отличала прежде всего добротность и даже некоторая грандиозность постановки, которая чем-то роднила их с миром оперы (или оперетты). Конечно же, последний из них, с дивной Милицей, я полюбила на всю жизнь, а многие другие забыла. Но все они, пожалуй, несколько подавляли меня. И тогда я привыкла – с годовалого возраста, но почему-то и потом, лет до семи, – понимать и воспринимать в них только отдельные эпизоды и отрывки, а остальные пропускать, продолжая оставаться в тех. Наверное, это было связано с тем, что я была медлительна и что Бог не дал мне прекрасного музыкального слуха. И до пяти лет я различала в музыке лишь кусочки отдельных мелодий, кое-как связывая их с помощью воображаемых картин.

Но были и другие (не музыкальные) фильмы, тоже непонятные, но вместе с тем и совершенно понятные, если говорить о понимании на том всеобщем и всемысловом «эспе-

²⁴ Вальс «Auf den blauen Donau» – «На голубом Дунае» (нем.).

ранто», о котором было сказано выше, в связи с дедушкой. Они были серьёзными и печальными: например, один из них был о Моцарте и назывался «Дай руку, жизнь моя»; другой – о безвестном прохожем, моряке из Скандинавии, и назывался «Чайки умирают в гавани»; третий, английский, – о маленькой девочке и её деде – «Козлёнок за два гроша». На них мы с мамой плакали и так, заплаканные, и выходили на уличный воздух из долгих кинозадворочных коридоров. (Годы спустя мне случилось вновь увидеть эти фильмы в «Госфильмофонде», и я с удивлением убедилась в том, что они действительно были очень хороши – на свой, немного наивный лад.)

Среди увиденных нами, впрочем, были и такие, которые ни к музыке, ни к печали отношения не имели, но все о них говорили. Многосерийный «Тарзан» был, по сути дела, захватывающим сериалом, его зрители чем-то напоминали болельщиков на футбольном матче. Но я их чувств не то чтобы не разделяла, но то заражалась ими, заряжалась, то полностью разряжалась и отключалась. Голливудский «Спартак» почти ничем не отличался в моих глазах от уже виденных фильмов-опер и полностью слился в памяти со вскоре поставленным в Мариинке одноименным балетом. Мы очень любили кинокомедии, но хороших тогда почти не показывали, а чаплинские «Огни большого города» потрясли нас, но именно, как мелодрама (которой фильм этот и был). Для меня в детстве он был значительно ближе к страшному и притягательному фильму «Газовый свет» (первый триллер! Взрослая страшная сказка про Синюю Бороду!), чем к комедиям Чаплина, с которыми я познакомилась значительно позже. Разумеется, я разбиралась в увиденном не одна: мы с мамой были общающимися сосуздами, мне передавалось её восприятие.

Я не просто любила, а боготворила маму, да и весь мир этой не вполне понятной мне красоты, (страшной, как написал в одном своём стихотворении Пастернак²⁵), открывающейся для меня вместе с ней и вслед за ней. Да, кстати, я вспомнила эту строфу из Пастернака не случайно. Когда лет двадцать спустя я читала впервые его роман («Доктор Живаго», естественно), то если отбросить всё французское (и по литературной линии шедшее отчасти от «Дамы с камелиями» и от Настасьи Филипповны Достоевского) в его героине Ларисе Гишар-Антиповой, а оставить только всю перемешанность врождённой красоты, серьёзности и женственности с мучительными временами и тяжелейшим бытом, который она несёт на своих плечах легко, как коромысло с ведрами от колодца во дворе к «дому с фигурами» (почти певуче!), – то мне оставалось только воскликнуть про себя: «А ведь это могло быть написано и о моей маме».

Но всего этого было «слишком много для меня одной», это напоминало море: вот плывёшь в нём и радуешься, но вдруг доходишь до какой-то точки – «остановись!». А иначе растворишься и исчезнешь в нём, утонешь, *тебя самой* не станет, не останется. Мы были от рождения очень разными, хотя я и не хотела, и не смела думать об этом. То, что внешне я была непохожа на маму, причиняло мне боль.

4. Фотокарточки с мамой (и мои отдельно)

Но пора наконец вернуться к девочке, которая жила в этой комнате не так обособленно, как в большом окружающем мире, и всё же достаточно отстранённо, к стихотворной строке из будущего первого неизданного сборничка «Шансон Дым»: «Рассказ о девочке манерной, / Ещё о стеночке фанерной...» У мамы в те (самые ранние) годы, когда я ещё была лишь её живой белолоконной куколкой со множеством красивых платьиц, сложилось представление обо мне как о ребёнке хотя и своенравном, но, в общем, послушном. Играть во дворе и в садике у церкви напротив (он имелся тогда, но был действительно мал: лужайка, две

²⁵ «Что делать страшной красоте / Присевшей на скамью сирени...». Из стихотворения «Я их мог позабыть» (1944).

скамейки и несколько старых деревьев) мне разрешали, но поначалу не одной и недолго. И я играла в основном дома, моими главными игровыми площадками были эркер, тахта и маленький угол перед ширмой. На глазах у мамы я играла как все девочки: рассаживала кукол и мягко-шерстистых персонажей моего домашнего Зоо за их длинным столом, они общались, рукодельничали, принимали гостей, пили чай и сами во что-то играли... Это была моя маленькая (но, увы, не настоящая!) домашняя сцена, а мама была «нашими зрителями». Мама была рядом всегда, но она всё равно *уходила* – в работу и пение одновременно. Порой от таза со стиркой, едва отерев руки, она подходила к пианино, внезапно начинала играть и петь вокализы, затем, не прерывая их, возвращалась к стирке, к быту, но ещё некоторое время продолжала быть и рядом, и где-то далеко.

Когда она *так* уходила, то и я спешила последовать её примеру; ведь и у меня был свой мир, который в первой главе я назвала своим *коконом*. В нём не было нашей комнаты как таковой, были только её отдельные уголки, мною расширенные и сценически переоборудованные воображением. В нём были и места наших с бабушкой и отцом (но не с мамой!) прогулок – мосты, площади, сады и прочие красоты города, увиденные мной главным образом из трамвайно-троллейбусных окон. Но они были упрощены до уровня декораций из больших кубиков, на которые их можно было собирать и разбирать, хотя играла я вовсе не в это. В нём были также и моря, озёра, костёлы, поля и пруды из мест нашего дачного отдыха, но они были открыточно-безразмерны и тоже свободно помещались в моих излюбленных комнатных местах. Это было как бы общим фоном, но у меня были также и любимые *вещи* (да полно! не совсем вещи, а что-то куда более живое, одушевлённое и оживлённое): от лодок и островков на озере и вплоть до безделушек – ну, например, раковины, какой-нибудь ёлочной или настоящей, но лёгкой и миниатюрной игрушки. Но для меня все они были отнюдь не безделушками и игрушками, а *действующими лицами* магического театра «Кокон».

Действо же разыгрывалось само, я его никогда заранее не придумывала, содержанием были отчасти прочитанные (мною или мне) детские книжки и сказки, отчасти же всё что угодно: сценка на улице, где мы стояли в очереди, или на общей кухне, игра с детьми во дворе, сценка из живого настоящего Зоо на Зверинской и многое другое. Но далеко не всё и не всех я принимала и звала в мой «Кокон», многое из него просто изгонялось, как случайно залетевшая в комнату большая осенняя жужжащая муха или оса. Принцип сохранения внутренней гармонии этого маленького мира превалировал, но непредсказуемо было то, что от меня самой он, пожалуй, зависел не вполне. Гармония была строга, значительно строже бабушки и мамы: у неё были свои законы, за нарушение которых можно было поплатиться утратой пропуска в её миры. Она уже и тогда была превыше моей любимой безудержной фантазии.

А кем же была при этом *я сама* – режиссёром? Да нет, я скорее была всей труппой, каждым по очереди, – это напоминало чтение пьесы в театре одного актёра. Но главное было не в этом, моей ведущей ролью была пружина действия. И чтобы попасть в свой волшебный мир, я вначале должна была подпрыгнуть на месте и закружиться как волчок, да и возвращалась я на мамин голос также прыжком. Играл ли с детьми, вообще-то говоря, эльфы и феи, как в «Питере Пэне» (который, кстати сказать, тогда не входил в круг детского чтения и был прочитан мной годы спустя), я толком не знала (и не стала бы отвечать на этот вопрос), но в глубине души была уверена, что – да...

Своим «Коконом», как его ни назови: мирком ли или моим собственным маленьким театром, – я очень дорожила, ничуть не менее (*более!*), чем домашним уютом да и красотой большого окружающего мира (ведь я жила в Ленинграде, на одной из его прекрасных и несчастных площадей) или чем маминой музыкой... Честно говоря, я дорожила им больше всего. И только любовь к близким была ещё выше и больше этого, я это понимала и принимала, но почему-то не без затаённой грусти.

Я обладала огромным аппетитом к жизни – в те ранние годы девяти жизней и тридцати городов мне было, может быть, мало, – но любя беготню, всевозможные приключения (да и вкусно поесть), по-настоящему и до подлинной страсти я любила только книги и чтение. Дело доходило до курьёзов. Как-то раз отец, чтобы обратить это в шутку, дал мне почитать брошюру «Железнодорожное расписание». Увидев, что я и её читаю с жадностью, он назвал меня пожирательницей всего напечатанного, которой всё равно что читать.

Но названия иных станций – Ржевка, Саблино, Сосново, Бернгардовка, Выборг – были так хороши, что все они сразу (моментально!) запоминались, а некоторые другие, непонятные, были такими смешными – например, Васкелово (там, наверное, ловили кота Ваську, а потом бросили и оставили его жить в полнейшем покое и забвении) или Токсово (где, быть может, проживала когда-то смешная мисс Токс из Диккенса, этот отрывок мне как-то читала вслух сестра отца, тётя Соня), – всё это было прелестно самой своей нелепостью и тоже сразу запоминалось. Но как же мне было рассказать об этом отцу, которого я стеснялась, – сверхзанятому и почти не обращающему внимания ни на что, кроме работы?

К сожалению, внешне я была совершенной противоположностью маме, и так как она была моим идеалом красоты, то не быть на неё похожей значило совсем не быть красивой. Но я считала себя по-своему милым существом, беленьким и круглым, как булочка или репка, хотя красотой и не блещущим, но всё же обладающим выющимися волосами, от белых до чуточку уже русых. И с глазами то серо-, то сине-голубыми, не очень, к сожалению, большими и с простеньким «киргиз-кайсацким» разрезом, как почти у всех вокруг. Но у меня были также и круглые локотки, и ямочки на щеках и руках, да и кольца, на которые делились мои волосы, были им чем-то сродни. А в шесть лет мама заплела их в коротенькую, но крепкую и широкую косу (а не в косички) – так что, в общем, всё-таки я была скорее существом по-своему милым, чем не таким уж и красивым...

5. Контрастные фотокарточки с мамой

Когда у пятилетней (в среднем) девочки есть секреты от взрослой и мудрой мамы, она сильно рискует, и прежде всего тем, что может оказаться не только не понятой, но, что гораздо хуже, – ложно и неправильно понятой кем-то самым близким (и ответственным за неё). Я не впустила маму в свой магический театрик – но отчего? В первую очередь оттого, что в него не поместилась бы её Музыка, а затем – просто потому, что мама была взрослой. Если вспомнить великолепные английские и французские повести для детей, написанные ещё до начала и в начале нашего ушедшего столетия (всё тот же «Питер Пэн», «Мэри Поппинс», сказки Уайлда или графини де Сегюр), то и они рассказывают о чём-то подобном. Взрослому остаётся лишь входной билетик в собственную «прохладную детскую века»²⁶, если он его не потерял или не истрепал.

Но если забраться ещё глубже во времена и вспомнить Николеньку Иртеньева из «Детства» Л. Н. Толстого, то становится ясно, что в такие игры, как правило, играли вместе с другими детьми, хотя зачинщиком игры, конечно же, был он сам, Николенька (и подобные ему творческие натуры). Когда зовут играть старшего брата Володю, который «вырос уже», стал подростком, то он только мешает и не даёт играть детям.

Но в послевоенные (послеблокадные, полуголодные) годы жизнь ещё только возвращалась на круги своя. И таким, как я, играть дома было не с кем – как правило, не было их, наших старших (или совсем маленьких) братьев и сестёр. Но я и не хотела «быть как маленькие», играть с маленькими, а больших побаивалась. В свой «Кокон» я впускала иной раз двух почти уже больших девочек – старшую кузину Юну и Рэну, дочь родительских дру-

²⁶ Из стихотворения А. Ахматовой «Ива» (1940).

зей Жарковских (и, кстати, тёзку моей второй кухни, жившей с мамой Фаней на Урале). Обе они вначале были в восторге, играли с радостью и прекрасно придумывали сюжетные линии, которые никогда не пришли бы в голову мне самой. Также появлялись (и оставались) новые замечательные персонажи вроде сибирских пушистых котов и лисички (а может быть, рыжей киски? Но никак не *лисы*!) Алиски, ведь обе они знали и прочли больше, чем я. Но как только каждой из них исполнилось четырнадцать, они уходили в мир мечтательной романтики, пока что остававшийся для меня дикой саванной, где гулять опасно. Они начинали с мечты о возлюбленном и, видя мой рост и чуть намечающиеся, как у них самих, грудь и талию, предлагали и мне побыть в мечтах вместе с ними (а мне-то было восемь с чем-то лет), пытаясь поделиться со мной «грёзами, волнующими грудь», – а меня всё это пугало и казалось пошлым. Однако они внушили мне (к девяти с половиной) любовь к чтению романов Вальтера Скотта и, в частности, к Диане Вернон, Ричарду Львиное Сердце и королеве Марии Стюарт.

Но маму мне удалось – нет, не обмануть, об этом не могло быть и речи, – а к сожалению, невольно (правильнее было бы сказать – поневоле) ввести в заблуждение. Глядя со стороны на то, как мой аккуратный «домашний театрик для неё» сочетается с моими играми в нём же «про себя», мама пришла к мысли, что я будущая актриса. И это стало на некоторое время фатальным для нас обеих.

...Став подростком, я до страсти увлеклась кино, но ходила туда на первые вечерние сеансы (пять вечера) одна, держа это своё увлечение в глубоком секрете, в том числе и от мамы. Музыку я полюбила внезапно и навсегда в шесть-семь лет, как будто кто-то открыл мне скрипичным ключом скважины ушных отверстий. Но я лишь вскользь сказала об этом маме, которая и восприняла это просто, как нечто должное и естественное.

Мама была ничуть не виновата в том, что жила в до- и послевоенное время, в эпоху сталинского ампира и искусственно создаваемых апофеоза и помпезности. Но меня подавляло в этой эпохе всё. Совсем не в маме моей и не в прекрасном её женском начале было дело, а во времени, в тяжеловесности всей этой мебели – с особенно мной нелюбимой бронзовой лисой на круглой мраморной подставке посреди огромного письменного стола.

И ещё в том, что сквозь официозно-приподнятую красоту появляющегося в городе метро, да и отремонтированных и подновлённых после войны старых жёлто-белых зданий в классическом стиле «ампир» – порой как из подворотни выглядывало нечто непонятное и ужасное, как, например, история одной из наших старшеклассниц, которую преследовали на правительственной машине, по слухам, «для Берии». Об этом, но не именно об этом, а обо всём в таком роде – потом, в главе «Продолжение музыки».

И мама тоже далеко не всегда понимала меня, хотя она из всех сил старалась не замечать во мне ничего «чужого». Так это и было, и оставалось, вернёмся же – но, впрочем, не именно к возрасту восьми с половиной лет или не к началу истории, случившейся у памятника великой императрице, а к тому, что всему этому предшествовало, – к весне перед началом школы.

Отголосок, пять с половиной лет

Я очень хотела как можно раньше попасть в школу, и родители пошли навстречу моей воле, а не сами придумали отдать меня туда в шесть лет. Чем же мне не жилось дома, где было так привольно и прекрасно? Была одна небольшая беда, о которой придётся рассказать напоследок, а затем я перейду к фотоэпизодам со всеми тремя²⁷ родителями.

²⁷ Включая деда.

Я ощущала себя по отношению к маме предательницей, не стоящей её любви. Это можно было бы ещё пережить, и с этим нужно было бороться, однако беда заключалось в том, что мама начала учить меня *всему* (пускай и понемногу) – музыке, пению, танцам, мытью посуды, наведению порядка в комнате, мойке зеркал и окон – и именно в том январе, когда мне вскоре должно было исполниться шесть лет.

Программа была большой и обязательной, продуманной лет на семь вперёд; в неё входило также серьёзное музыкальное образование, танцы, умение прекрасно себя держать, шитьё, вышивание, домоводство и знание иностранных языков в полном объёме – всё то, что маме не успели и не смогли дать в своё время её родители и что ей (бедной одинокой девочке Розочке) приходилось завоёвывать своими силами, изобретательностью и удвоенным трудом.

Я была бы рада, но... Конечно, я понимала, что именно этому учили раньше в пансионах и даже в институтах для больших девочек. И что усвоение всего этого было залогом счастливой женской жизни... Но у меня *ничего* не получалось, руки мои были явно приделаны не тем концом, превосходство мамы бесконечно подавляло меня, а страх рассердить и обидеть её заставлял, приводя в столбняковое состояние, разбивать тарелки и стоять, кататонически-безнадёжно застыв, на уроках танцев.

Да, что-то у нас трагически не выходило, и в первую очередь потому, что мама, умеющая всё, но не только чуждая детской педагогике – это как раз было только к лучшему, – а ещё и позабывшая из-за своей трудной и взрослой жизни о том, что «детский мир» – это не только большой отдел игрушек (или даже огромный универмаг для детей ДЛТ), слишком уж серьёзно подходила к делу. А играть вместе мы никогда не умели, мы вместе только делали чёрную работу – такую, как стояние в очередях и мытьё полов (хотя в последнем моя доля участия была более чем скромной – я носила за ней ведро, меняя в нём воду, и полоскала тряпку). И ещё мы вместе увлекались фильмами и музыкой, но увы, моё восхищение последней было тогда ещё искусственным, вернее – немного наигранным или не вполне настоящим.

Нежно любя друг друга и проводя всё время вместе, мы, тем не менее, не жили общей жизнью. Ну и наконец, у меня от природы были посредственные способности ко всему тому, чем она была так щедро одарена, и оттого мне было совсем неинтересно заниматься этим прежде времени. Больнее же всего было сознавать, что я разочаровываю и огорчаю её своей бездарностью, а вот другие девочки на моём месте...

Рассказ третий. Летние фотокарточки с мамой и дедушкой

1. «Как важно быть... хорошей»

Я прекрасно понимала тогда, что нравлюсь маме только потому, что я *её девочка*, и поэтому бывала рада (хотя и в меру), когда она наряжала меня как куклу, а также и тому, что у меня красиво вились волосы. Но так как я не была на неё похожа и поэтому внешней красоты мне явно недоставало, мне также очень хотелось быть *хорошей* – для неё и в её глазах, быть серьёзной, доброй, отзывчивой (как раз эти качества она ценила в людях).

Но и тут мои старания приводили к каким-то странным последствиям, и я каждый раз попадала впросак. Таких случаев было много, но лучше всего это «проболталось» в фотографиях с пирожками и пирожными, которые я тоже любила, хотя аппетит к чтению книг и приключениям был куда сильнее.

Как-то раз на моём дне рождения (на всё том же злополучном шестилетии) были на столе мамины знаменитые тоненькие пирожки с капустой и паштетом, которые назывались «французскими» (из слоёного теста). Было много вкусного, голодные времена для всех уже кончались, и в том, как в домах всех друзей и родных накрывались столы и тщательно изобретались (да нет, находились – в старых поваренных книгах) новейшие блюда для гостей, проявляло себя огромное облегчение. Но наряду с ним прятались невесёлые воспоминания пережитых голодных лет.

Отголосок, возраст около шести

Мы, дети, не усидели за столом и вместе решили вернуться к нему после игр. Играли мы бурно, горячо и долго, кое-кто (в том числе и я) мимоходом подбегал к столу, чтобы угоститься пирожком или глотнуть чаю или морса. Никто, а я в особенности, при этом не соблюдал этикета. Когда все сели за стол (гости, кроме Юры Скворцова, были детьми друзей моих родителей), один мальчик года на два помладше заплакал, потому что у него кто-то взял с тарелки что-то вкусное. Его успокоили, накормили, и в итоге все остались очень довольны и расстались в прекрасных отношениях.

Но после их ухода, во время совместного мытья посуды в кухонном уголке, я услышала от мамы крайне нелицеприятные слова о жадных и ненасытных девочках, которые прекрасно едят каждый день, но на своём дне рождения умудряются хватать пирожки с тарелок у маленьких, которых сами же пригласили в гости. Мне было стыдно, и я решила при первом же удобном случае доказать, что я не жадная, не хватаю эти пирожки и вообще не интересуюсь ими.

Но пекла мама не так уж и часто, а через две-три недели после дня рождения должен был произойти отъезд на всё лето. Да и там мне представился случай только через месяц. Правда, сезон в курортном городке Бирштонас удался на славу: там имелись друзья родителей, из которых мне особенно запомнились режиссёр ТЮЗа Димант с женой, бездетная пара, его все звали просто Димантом, а не по имени-отчеству. Всем было весело, в том числе и взрослым: катались в больших лодках на озёрах, устраивались пикники и прогулки. Однажды мама испекла пирожки, чтобы позвать на вечернее чаепитие друзей. Решето с пирожками, накрытое полотенцем, лежало в огромном лукошке для ягод (или для яиц). Тут-то я и решила доказать маме, что я совсем не жадная и не собираюсь тайком хватать

пирожки. Ждать до вечера было трудно и как-то не хотелось, к тому же я знала, что после утреннего купанья все знакомые будут проходить мимо нашего дома. Дедушки почему-то дома не было, момент был очень благоприятным и главное, красивым – было прекрасное утро. Я взяла большое и неудобно тяжёлое лукошко в руки и вышла встречать и угощать у калитки всех, кто у нас бывал. Никто не отказался, а Димант дважды возвращался под разными предложениями и попробовал пирожки три раза. Все были в восторге и от них, и от погоды, и от меня. Пирожков стало раза в два меньше, но мама, добрая и щедрая душа, конечно же, не на это обратит внимание, а на то, какая я хорошая и ни капельки не жадная.

Мама и бабушка, готовившиеся к вечернему приёму, задержались на рынке дольше обычного. Когда они вернулись, нагруженные провизией, пирожки стояли на прежнем месте, аккуратно накрытые полотенцем. Никто, быть может, прежде времени и не обратил бы внимание на урон, нанесённый их количеству, если бы я промолчала, – им было явно не до меня. Но мне слишком уж не хотелось, чтобы мама подумала, что пирожки эти были съедены лакомкой, которой она меня считала. Я рассказала о произошедшем – достаточно скромно и с достоинством. Но тут-то и выяснилось, как трудно, оказывается, быть хорошей. Она возмутилась как никогда, у неё даже хватило времени (обычно это откладывалось на вечер) устроить мне хорошую трёпку на месте. При этом было сказано следующее: «Ты не трудилась, трудились мы, мы всё купили, я их испекла, а ты только бегала и мешала. Нет ничего хуже, чем устраивать угощение за чужой счёт и быть такой хвастунишкой».

Поставленная в тупик, я задумалась: «Значит, быть щедрой, но хвастунишкой – хуже, чем быть жадной лакомкой? Ведь тогда, за аппетит и нарушение этикета, меня только ругали». Впрочем, щедрость моя почему-то была подозрительна и мне самой. Получилось что-то непонятное, а простые, настоящие мальчишеские души, такие как Том и Гек, – они-то едва ли бы... Как всегда в трудных случаях, я спросила у бабушки. Он ответил: «Твоя мама должна тебя воспитывать, но любит она тебя такой, какая ты есть, поэтому не стоит так уж стараться казаться себе и другим лучше, чем на самом деле».

Случай проявить себя «на самом деле, как есть» (и по отношению не к одним только родственникам и пирожкам) представился вскоре после приезда в Ленинград. В конце августа мы с мамой и отцом отправились праздновать моё поступление в школу в кафе «Квисисана» на Невском, лучшую кондитерскую в городе (через два-три года надолго ставшую известным кафе «Север»).

Для меня это был праздник: я шла вместе с мамой и отцом, а это бывало так редко. На мне было платье, перешитое из неношеной дяди Зяминой гимнастёрки, но зато очень красиво вышитое мамой цветочками, листиками и звёздочками – жёлтыми, голубыми, алыми. Шёлковые, яркие, они казались такими свежими и новенькими на сукне цвета хаки. Кафе было что надо, там всё блестело и было уютно, но мне запомнилось только то, что в пространстве за стойкой стояли стеклянные закрытые шкафы-конторки, вроде горок для стекла и фарфора, но на полках были одни пирожные, разноцветные и чем-то похожие (скорее на мой тогдашний взгляд, чем на самом деле) на ярко вышитые цветочки на моём новом платье.

Чинно и спокойно озираясь вокруг в ожидании официантки, я загляделась на них так, как умела всегда и вообще заглядываться на что-то очень понравившееся, забыв обо всём на свете. Мой взгляд был замечен очень красивой дамой (впрочем, по моим невежественным понятиям, «тётей»), немного похожей на мамину довоенную фотографию в роли официантки-испанки с подносом и веером. Но вместе с тем она несколько не была похожа на испанку, у неё были гладко причёсанные волосы, серьёзная улыбка, ничего в руках не было... пожалуй, она всё же больше походила на актрису Элину Быстрицкую. Мы с ней с первого взгляда прониклись взаимной симпатией и пониманием. Чуткая и серьёзная, скромно улыбаясь, она подошла ко мне (да, именно ко мне, а не к нам, хотя рядом сидели родители) и предложила пройтись вместе по кафе и рассмотреть всё получше. В восторге от приглаше-

ния, я взяла её за руку, даже и не взглянув на них (в том числе на отца, последнее – удивительно, так как я не только любила его, но и боялась), и мы пошли. Мы прогуливались минут восемь, обмениваясь ослепительными улыбками, и я смело могла бы утверждать потом, что провела их в «удивительном мире рекламы». А затем мы вернулись к нашему столику с красивой корзинкой (а не картонкой, как обычно), полной самых разных и лучших пирожных.

Как выяснилось вскоре, стоили эти дары в корзинке в четыре раза дороже своей цены в магазине рядом с кафе. Не зная этого и не понимая причины скованного и невнятного молчания родителей, а точнее, их молчаливого, но явного неодобрения, я принялась с наслаждением (и всё же медленно и аккуратно) за чашку кофе с пирожными. Но аппетит изменил мне в самом начале – то ли первого, то ли второго (кажется, это был наполеон). Наконец-то, хотя и поздно, я догадалась обменяться с мамой внимательным и вопрошающим взглядом, но в её глазах я прочла предостережение и кивок в сторону отца, а на его лице – сдержанный гнев. Это было как если бы мы втроём катались на лодке по озеру в безоблачный день, но внезапно пошёл бы сильный дождь, заливающий лодку. Я ничего не понимала, а отец отошёл к стойке и вежливо, хотя и несколько презрительно рассчитался с «красивой тётей» (которая оказалась старшей официанткой), но так, чтобы мама не видела. Через четыре минуты, выдержав пристойную паузу, мы вышли из кафе. Отец, извинившись, покинул нас и исчез в направлении работы, а мы с мамой и пирожными отправились домой на троллейбусе. Но только когда мы оказались в комнате, я испуганно спросила, что же произошло и почему всё оказалось испорчено. Мама велела мне снять нарядное платье и переодеться в серо-синий домашний халатик из клетчатой шотландки. А затем кратко и энергично объяснила, что маленькие девочки не должны слишком много смотреть вокруг и убегать с чужими от родителей. Что даме этой платят премиальные за выручку, заработанную на таких глазающих на всё (а в том числе на неё) дурочках «посетительницах». Но что всё это можно понять, вот только как быть с тем, что отец не терпит пустых денежных трат и подобных театральных представлений, и он очень разгневан. Затем она пригладила мне волосы и вытерла платочком глаза, приласкала меня и сказала, что постарается всё это исправить. (Впоследствии я узнала, что она была куда больше отца шокирована случившимся и ей даже показалось, что «старшая официантка» ни с того ни с сего хватает за руку и уводит сначала её ребёнка, а затем переходит и к мужу.)

Простив меня, она сразу же позвонила бабушке и своему старшему (и ещё не женатому тогда) брату Зяме, приглашая их на сегодняшний вечер к чаю, и о чём-то шепталась с ними по телефону. Через двадцать минут позвонил домой и отец, сказав, что он придёт немного позже, чем всегда, так как работы много, но будет очень рад вечернему чаю с родственниками. А дядя Зяма, позвонив в свою очередь, сказал, что поедет сегодня ночевать к бабушке. И они оба вполне согласны с тем, что наша встреча не может состояться раньше девяти вечера. Дальше всё было очень хорошо: опять нарядное платье, чаепитие с прекрасной корзинкой пирожных (из «Квисисаны») на столе и много смеха... Подумать только, бабушка согласился приехать поздравить меня с праздником поступления в школу так поздно! Правда, домой они поедут вдвоём, а я лягу спать на часок позже обычного.

Но они засиделись допоздна, о чём-то, как всегда, весело (как мне казалось) вспоминая, а я уснула вполне счастливая, совершенно забыв о существовании «прекрасной дамы» из кафе.

Кратко подумав обо всём этом на следующий день, я пришла к выводу, что мама и бабушка, пожалуй, действительно любят меня «такой как есть», но что вряд ли это можно сказать ещё о ком-либо, кроме них. И что в этой естественности, уместной в играх с единственными друзьями из сверстников (и младше), есть что-то далеко не безопасное, требующее собранности и осторожности в мире взрослых (да и детей постарше, но вот до этого я почему-то додуматься не успела).

В воскресенье перед школой мы снова немного поговорили об этом с дедушкой. Он сказал, что чувство такта похоже на музыкальный слух и что наполовину оно состоит из врождённого чутья, а наполовину – поддается воспитанию. И что я не страдаю отсутствием слуха и такта, как тётя Белла (её все они считали безобидным воплощением бестактности), но у меня есть «слуховые ошибки в верхнем и нижнем регистрах». Это выражение мы с ним взяли от нашей музыкально образованной мамы. И ещё он сказал, что всё это со временем пройдет. А я в ответ подумала: «Вот отчего мне так не хочется заниматься музыкой!»

.....

Рассказ четвёртый. И ещё – стереоснимки с мамой²⁸

1. Отчего я не похожа на маму?

Отголосок – короткий

Впрочем, если бы мама знала, как я на самом деле люблю её, она ни к кому и ни к чему меня бы не ревновала (и так надо мной бы не начальствовала). Больше всего на свете мне хотелось стать похожей на неё, но при этом не стараясь и не подражая, а просто в один прекрасный день проснуться и оказаться немного на неё похожей, а затем постепенно всё больше, как это бывает у растений на грядках. Это было бы так просто и естественно, однако почему-то не происходило. И я не переставала из-за этого переживать (кстати, по отношению к маме мне вовсе не хотелось походить ни на Тома, ни на Гека).

Вот и ещё одна фотокарточка, какая-то по счёту. Однажды, то ли в дошкольные времена, то ли уже в одном из начальных классов, мы с мамой стояли в очереди к овощному ларьку, перед нами было всего три или четыре человека (очереди к тому времени стали короткими – словом, это было уже в конце эпохи очередей). Продащица, крашеная молодая блондинка в фирменной белой «пилотке» и красных митенках²⁹, что позволяло ей почти не касаться овощей и не мёрзнуть, но при этом и «не терять контакта с продукцией» (конечно, они были, что поделать, грязными) – вдруг зыркнула на меня накрашенными, но и по-настоящему чёрными, слегка подпухшими глазами. И сказала маме: «Это не ваша дочка, она совсем не похожа». Мама что-то ответила, но я не услышала, так как от фразы этой, да и от взгляда и простуженно-резкого голоса ларёчницы, походившей на беловолосую цыганку, мне внезапно стало не по себе до тошноты, и я разревелась.

Рёв и горькие слёзы быстро прошли, но невесёлое настроение осталось надолго, хотя мама великодушно утешала меня и было куплено мороженое. Но и оно не оказало своего обычного действия.

Моё лицо было, как у всех окружающих, скуластым, почти курносым, с таким же «полукиргизским» разрезом серых глаз (потом я узнала, что это эпикант, наследие степных народов), как у любой продавщицы. В этом не было ничего ужасного, но это было буднично, скучно, как ларьки и очереди... и вообще несправедливо.

.....

2. Мы с мамой и музыка (Открытка большая и яркая: в Большом зале Филармонии)

Отголосок

Мне лет шесть, но мы там не в первый, а уж и не знаю в который раз. Зал огромен и великолепен, люди сидят в креслах ещё более тихо, чинно и «этикетно», чем в те неиз-

²⁸ Напоминаю, что во Вступлении я называла часто повторяющиеся снимки, накладывающиеся друг на друга, открытками (или даже заключёнными в стереошары).

²⁹ Митенки – перчатки, из которых выглядывают кончики пальцев.

вестные мне времена, когда он был залом Дворянского собрания. Все большие, а я – нет, я несчастная и маленькая то ли девочка, то ли дрессированная собачка. Я совсем не понимаю музыки, сверкающей и гаснущей вокруг наподобие огромных люстр, отражающихся в синевато-белых колоннах. В Мариинке я придумываю разные «дополнительные» сюжеты к либретто и смотрю на всё происходящее на сцене во все глаза, а тут – ничего не приходит в голову. Я совершенно подавлена грандиозностью всего окружающего и глубоким молчанием всех этих взрослых перед лицом великой музыки. Тишина эта мне непонятна и не особенно приятна, она напоминает белые, тугие и накрахмаленные воротнички тогдашних мужских рубашек, торчащие из выходных костюмов. Отчего же я так боюсь музыки? Да, вот что стоит между мной и *этой* музыкой – страх.

От нечего делать я начинаю сначала высматривать и разглядывать, а затем и считать лысины впереди и вокруг, – они очень разнообразны (мне вспоминаются чиновники из спектакля «Ревизор» в Александринке, на котором мы с мамой недавно были). Я не додумалась бы до этого сама, но на помощь приходят смешливые реплики из нашего с кузиной Юной «репертуара», и я пытаюсь приободриться с их помощью. Некоторые из упоминаемых лысин – как полированная слоновая кость, они очень уместны здесь, но есть и проще, они как бы покрыты жёлто-белым лаком и смотрятся словно деревянные, как какие-то (бильярдные?) шары. А есть и совсем простые, которым здесь и не место, – они покрыты неровной кожей и не свободны от кустиков волос.

Свет люстр ведёт себя с ними совершенно по-разному: на первых он сиятельно сверкает, это лысины генеральско-министерские. От лакированной поверхности вторых он, блеснув, отражается лучиком и они – как бы второго класса³⁰. А третьи – ну, им-то бы следовало сидеть в последних рядах или скрываться на хорах, дожидаясь получения следующего, пока ещё скромного чина.

Я представляю, как мы будем смеяться вдвоём с Юникой, когда я расскажу ей об этих своих наблюдениях. И мне уже не скучно, я их «коллекционирую», порой с трудом удерживаясь от смеха.

Прерывается

(Краткая остановка)

Но неправильно было бы думать, что я позволяла себе усмехаться над некрасивостью чьих-то лысин или морщин, – они вовсе не казались мне такими, они просто привлекали и занимали внимание. Ведь у ребёнка другая эстетика восприятия возрастных особенностей, чем у взрослых. Почему-то прекрасен в моих глазах был мой старенький дедушка. А когда (позднее, после болезни, но всё ещё храня в душе большого ребёнка, которого в реальной жизни уже не стало) я впервые оказалась в залах Рембрандта в Эрмитаже – как много там было его картин, насколько больше, чем сейчас! – то долго не отходила, вглядываясь, в портреты его стариков голландцев. И любовалась ими, и что-то понимала в глубине души, а пробуждаемое ими во мне доверие внушало мысль, что они по-своему *красивы*.

Зато гораздо меньше доверия внушила мне прекрасная и знаменитая «Даная»: она возбуждала вопросы, для большого ребёнка самые тревожные и непонятные, ведь мне казалось, что она беременна, хотя родит и не в ближайшие месяцы. «Но ведь она не Мадонна, – думала я, – Мадонна не может быть обнажённой, а если так, то она ждёт обыкновенного малыша. Отчего же у неё такой восторженный взгляд, отчего?» Впрочем, я знала, отчего (то есть была знакома с содержанием мифа), но не это смущало меня, а вот вид Данаи – просто мучил. Ведь, повторяю, у большого ребёнка своя, совершенно другая эстетика. И что бы ни говорили умные психологи об аутизме, нарциссизме etc., но ребёнок живёт в мире других представлений о поле и его проблемах, да и с другой золотой мерой прекрасного.

³⁰ Некогда чиновничество действительно делилось на классы, но совершенно по другим признакам.

А навязывание взрослого восприятия вызывает у него только возбуждение, кажущееся ему нелепым, и желание отвернуться, стыдясь. Поэтому вполне естественно, что внимание моё привлекали не замечательные мужские шевелюры и дамские причёски, от которых у меня зарябило бы в глазах (они в таких количествах в эти глаза вообще и не помещались). А вот лысины – это действовало успокоительно и забавляло, это было из мира моего театрала «Кокон».

Прерывается

Тот же отголосок, впрочем, он сразу оборвётся

...Моя мама где-то очень далеко от меня, хотя и рядом, она прекрасна, она – фиолетовая Фея сирени из «Спящей красавицы», она вся в музыке и в воспоминаниях юности. Её тонкий рот страдальчески сжат, на лбу морщинка. Как мне трудно выносить это выражение отчуждённости и отрешённости на её прекрасном лице!..

Прерывается

Остановка, продолжение

Около десяти лет спустя я впервые встретила, ещё не став верующей, такие же, но только не томно, а напротив, строго истомлённые лица, ещё более застывшие в молчании, – в церквях и соборах во время поездки по Средней России и Подмоскovie с мамой и моей однокурсницей и подружкой Наташей. И была смущена ими ещё больше.

А в Филармонии? Маленькая язычница, а быть может, и безбожница... Нет, я в какой-то мере понимала и восприняла дедушкины слова о Боге, но просто не в силах была принять их до конца. Однако я знала и тогда, начиная лет с пяти-шести, что в стихиях – в огне (легко играющем и ручном только в нашей печке), и в море, и в звёздном небе – есть нечто от Бога, но молчаливое и неясное.

Не страшилась ли я бессознательно, что музыка может заговорить голосом Бога? Не отстранялась ли от неё в недоумении, понимая, что этого в ней и не нахожу, и не слышу? Если бы тогда я услышала органную музыку Баха (но мне не довелось, мама не любила орган) и что-то в ней внезапно поняла, что было бы тогда? Дело не в ответе на этот вопрос, которого нет (и не могло быть), а в том, что этот страх, бессознательный и туманный, соприсроден душе, способной, но ещё не готовой к вере.

Но эти мысли, если они и были, скрывались где-то глубоко, как на дне морском.

.....
Всё тот же Отголосок, окончание

...А на кресле рядом с мамой сидит нарядное и по малолетству легкомысленное существо с короткой толстой косой и бантом, медленно и по возможности незаметно вертящее шейкой (с этой «косищей» и со вьющимися вокруг лба и ушей короткими льняными прядками, оставшимися от локонов). Что до головы, то она в данный момент, пожалуй, всё же присутствует, но как-то незаметно. Ощущать себя нарядной – так непривычно и (немножко!) приятно, а сидеть, не понимая, среди посвящённых так неловко, что я эту свою голову серьёзно и не принимаю. Да и вообще чувствую себя немного как кукла, то есть притворщицей.

А я настоящая – где же я?... Как странно: вот я уже мысленно стою, прислонившись к огромной соседней колонне, будто призрак кого-то, мне неведомого. И поражаюсь вначале, как мне отчего-то знакома её белизна с тёмной и сизой голубинкой в глубокой тени, а затем и огоньками (о, как их много!), убегающими от её яркой поверхности, снова и снова – в глубь люстр. «Это было веками»³¹... Стихотворение появится ещё так не скоро, но что же это за призрак «я», которым когда-то, возможно, мне довелось быть?.. Я этого и знать не знаю, мне так странно об этом думать, тут близко какой-то сияющий (зияющий! Всем блеском люстр!) провал. Мне становится страшно, меня знобит, и я опять совсем рядом с мамой.

³¹ Из стихотворения автора.

.....

Что же до моих слуховых сложностей с музыкой в Филармонии, то вскоре они закончились, просто и внезапно, когда во время исполнения Эмилем Гилельсом Первого концерта Чайковского у меня вдруг «открылись уши», и мне осталось только потрясённо и покорно слушать и понимать «отныне и присно».

Рассказ пятый. Мой отец и фотосери́и с ним

1. Короткие прогулки

Отца я видела постоянно, но общалась с ним мало. Он много работал, работа была для него богом, как не без оснований казалось мне тогда. Он приходил домой в полшестого, обедал, спал, уходил со мной на краткую прогулку (и всё это за какие-то полтора часа!). И снова, как неслышный мотор, работал за кульманом и письменным столом, листал справочники... Потом одновременно со мной опять засыпал, но не раздеваясь, зато позднее у него была ещё какая-то короткая полуночная жизнь, заключающаяся в общении с мамой и их знакомыми – до полпервого или часу ночи, когда они наконец ложились и всё в доме окончательно засыпало. Вставал он в семь утра, умывался, пил свой стакан чаю, и в полвосьмого его уже не было.

Он жил по расписанию и при этом был (в моих глазах) чем-то похож на паровоз, тянувший вдоль насыпи и пассажирские, но больше товарные вагоны. Он был обаятелен, силен, но ничего хоть сколько-нибудь романтического, как в маме, я в нём не находила... Моё место в его жизни было, как мне казалось, очень малым, моё время продолжалось с полседьмого до семи с чем-то вечера, когда мы гуляли, совершая наш малый (Пять углов, мост с цепями и улица Рубинштейна) или большой (Невский, набережная Фонтанки, улица Зодчего Росси, снова мост и Пять углов...) прогулочный круг. Как же получалось, что после каждой из этих почти одинаковых прогулок мне хватало материала на чтение и игры – не на один день?

Да, он был блестящим рассказчиком и был бы замечательным педагогом – не по образованию или призванию, а от природы. Но главное заключалось всё же, скорее, в том, что нас интересовало одно и то же (но отнюдь не одни и те же вещи: он никогда не снисходил до детства и детскости), что свои сознательные способности к отвлечённым и не женским занятиям я унаследовала от него. И что всё, чему он учил меня (а он просто приказывал: «Запомни! Прочти!»), я усваивала мгновенно и безо всякого труда – сама, на досуге, играючи...

Всё это было несправедливо по отношению к маме, это угнетало меня, поэтому мне хотелось как можно скорее попасть в школу. Я не знала, но догадывалась, что для «маминых наук» времени останется мало, что после школы будут игры, потом уроки, потом двор. И только с четырёх часов до половины шестого она будет (то есть мы с ней будем) терзаться танцами, музыкой и домоводством, да и то не каждый день. Ведь иной раз нам захочется пойти в кино, а как-нибудь потом ей придётся отправить меня к бабушке.

Перехожу к серии снимков с отцом, пока лишь только мирных детских времён, до встречи с памятником Великой Екатерине. Эти снимки, в отличие от предыдущих, имеют названия. Одно из них короткое, а для меня когда-то оно звучало и энергично, и пугающе:

2. Стереосери́я «Шкаф»

Шкаф этот стоял наискосок от двери, он отгораживал мой угол, – я жила (то есть читала, спала и болела) за ним, с его изнаночной стороны. А основной особенностью шкафа со стороны лицевой была его дубово-ореховая строгая немецкая громоздкость (при этом он был явно больше в длину, чем в высоту, но и высота его была немалой), хотя это было не так уж и заметно в открытом пространстве большой комнаты. Рабочий угол (или «кабинет») отца был у противоположной стены по диагонали, вблизи эркера. Отец работал дома по

вечерам упорно и сосредоточенно, он сам напоминал своего рода «многоуважаемый шкаф», он ничего и никого вокруг не замечал.

Но я, когда была ещё маленькой, не менее упорно пыталась привлечь к себе его внимание. До четырёх лет я издавала с этой целью громкие возгласы мимоходом, а также задавала разные чрезвычайно неумные и ставящие в тупик вопросы, типа: «Папа, а кто более великий человек, Ленин или Сталин?» В ответ я получала взгляд, отшвыривающий меня к дверям, плакала, но вновь принималась за своё. И приводило это всегда к одному и тому же, причём наказанной больше меня оказывалась мама. Я же, как ни странно, и очень боялась этого наказания, и любила его.

Отец ставил меня на шкаф и говорил: «Поживи-ка здесь, пока не научишься жить по-человечески. До свиданья!». И назначал время – иногда полчаса, иногда час, а пару раз он вообще забывал меня снять, что приводило к тому, что мама подолгу с ним не разговаривала.

Отголосок, возраст 3–6 лет

Шкаф вначале был выше меня во много раз, а под конец – раза в два и всё меньше. Этот «конец» стал виден, когда мне исполнилось четыре года и сколько-то месяцев, когда я сдалась и признала превосходство отца над собой, но меня всё ещё почему-то сажали на шкаф. Вначале я громко плакала, в конце же (лет около пяти-шести) считала шкаф отличной игровой и обзорной площадкой. По правде говоря, именно он, шкаф, и научил меня хорошо прыгать, не ломая костей и не ушибаясь. Мама всё же не могла смотреть на это и уходила в эркер шить, говоря негромко, что если это не кончится, она уйдёт насовсем.

Вначале я замирала на шкафу, не смея пошевелиться и посмотреть вниз, но природная живость рано или поздно подсказывала мне, что пора очнуться и привыкнуть к новым условиям существования. Надо только быть осторожной и не подходить к самому краю. На шкафу стояли скульптуры, одна из них была недорогой, но всё же антикварной и досталась отцу по наследству, – это была поясная фигура дамы в шляпе, чем-то похожая на амазонку, «срезанную с седла косой времени» (как сказал о ней кто-то из гостей). Две остальные были немецкими трофеями недавно прошедшей войны, ведь и мебель, и всевозможные вещи были привезены в дом отцом после неё (их группа получила премию по работе – вагон кое-как уцелевших вещей из разрушенных домов то ли в Кёнигсберге, то ли в Берлине, – не знаю). Ещё там имелись две низенькие вазы с искусственными цветами. Место было невесёлое, даже печальное и оторванное от жизни, проще говоря – весьма уединённое. Я тогда ещё не имела понятия о кладбищах, но воспринимала его немного похоже на то, как люди чувствуют себя там, – стеснённо и печально, в маленьком и «ненастоящем» садике.

Но тем не менее я играла на этой, как мне казалось, угловой нижней крыше комнаты, как в надмирном, но вполне спокойном и тихом, хотя и не вполне безопасном месте, где растут нигде не произрастающие, но вечно красивые (и всегда одни и те же) цветы. Где чуждые моему воображению, но знакомые образы уже никуда не денутся, что поделаешь (они были в этом отношении чем-то похожи на наших соседей по коммуналке). Но с ними можно поздороваться, можно мимоходом улыбнуться им, а потом – либо их не замечать, либо задавать им немые роли, то смешные, то грустные, каждый раз новые и неожиданные – и для них, и для меня самой.

Позднее я научилась спрыгивать со шкафа самостоятельно, хотя так и не сумела (а быть может, и не разрешила себе этого, жалея его!) двумя прыжками забираться на него. Жалея, в свою очередь, меня, мама вначале выносила из эркера и расставляла перед шкафом шезлонг с подушкой, чтобы я, падая, могла спланировать туда, как это делают кошки. Вначале я именно так и поступала, а затем сообразила, что гораздо приятнее прыгать сбоку на тахту, которая сама по себе пружинила и у меня получался ещё один прыжок вверх – в любую сторону. Так я училась прыгать вниз и вверх и запрыгивать довольно высоко – наверное, потому, что родилась в год обезьяны. Вообще в этом возрасте, между четырьмя и пятью с половиной, я

как-то сразу научилась многому: в частности, с увлечением читать (и по вечерам тоже) и не докучать взрослым, которым не до меня.... и многому-многому другому.

В конце же истории со шкафом никакого наказания уже не было и в помине, осталось одно удовольствие. Страх совершенно исчез, это заметили и родители, мама – первая: она перестала за меня бояться и швейная её машинка вновь мирно, однозвучно и весело стрекотала то в эркере, то в комнате под лёгкий, подрагивающий аккомпанемент звона оконных стёкол снаружи. Я, не особенно стесняясь (только чуть-чуть), просила отца, но теперь не посадить, а посадить меня на шкаф. И он хотя и не без удивления, и не каждый раз, но выполнял мою просьбу. Но я очень быстро росла, я до него (шкафа) дорастала, скульптуры и вазы становились всё меньше, я – всё больше, и это была уже не площадка, а всего лишь место для одного человека – «на шкафу». Правда, там можно было читать вслух и произносить стихи как монологи.

Стихи я запоминала мгновенно и однажды прочла оттуда громко вслух отрывок из «Медного всадника», начинающийся со слов «На берегу пустынных волн». Отец, разумеется, не изменил позы, только повернул голову, но впервые посмотрел на меня внимательно и несколько удивлённо, не без улыбки, но как бы и слегка приподнимая шляпу; мама же встала рядом с ним, напряжённо вслушиваясь.

Но мне уже не хотелось играть на шкафу (а ведь прежде это место называлось для меня просто «шкаф»), а больше нравилось с него прыгать. «На шкафу» превращалось в своего рода пьедестал с фигурками, это было нелепо и скучно, тем более что сама я при этом начинала казаться себе... Не менее громоздкой? Нет, просто не менее преувеличенной и выпренной на нём, чем он сам.

.....

(Рассказ пятый прерывается)

Рассказ-вставка. О матрёшке из двух девочек

1. Об Ине Твилике (и немного подробнее о театрике «Кокон»)

Малышка Ина возникла вместе со мной, это было выбранное мной самой (с незапамятных времён) сокращение данного мне имени Ирина. Она была с самого начала существом непризнанным, так как никто не стал меня так называть, а все, наоборот, отучали. Даже мой единственный дедушка не стал в этом вопросе, как обычно, другом (и исключением), так как его неисполненным желанием было назвать меня Симой в честь бабушки, и он не понимал, какая ещё Ина – неужели недостаточно просто Иры и Иринки? И я, конечно, забыла об этом годовалом, а потом и полуторагодовалом настойчивом младенце, желавшем во что бы то ни стало быть Иной в период своего глубокого погружения в начальный русский устный, а затем как-то отдалившемся от меня после знакомства с буквами и по мере освоения чтения.

Но где-то в глубине души мной не была забыта и оставалась её, Инина, маленькая и немного кукольная тень – как персонаж, которого никто не хочет (и не хотел) ни знать, ни понимать. Поэтому я вправе сказать, что она и тогда жила во мне, как крохотная матрёшка – в матрёшке немножко побольше.

Чтобы пояснить, в чём была бросающаяся в глаза разница между мной, более внешней и душевной, а также любознательной и звонкой, которую все звали Ирочкой, Иринкой, Иришей (я сокращу этот перечень, выбрав Иринку), и Иной Твиликой, я не стану рассказывать о том, как появились её фотокарточки памяти, ведь я этого и не помню. Пусть лучше вначале будет один эпизод, разыгранный потом неоднократно в театрике «Кокон», находившемся на яркой и солнечной стороне моей жизни.

2. Фотоателье (преимущественно о «Коконе». Эпизод первый)

Отголосок

Фотографии эти, на сей раз реальные (и первые с позированием в моей жизни), были сделаны маминым старым знакомым, художником и фотографом, у которого дома был уголок, называемый «фотоателье». Там были перья, и веера, и бусы, и множество самых разных необыкновенных игрушек для детей и безделушек для взрослых. Там же стоял очень большой аппарат на ножке с ослепляющей лампой, как и в обычных фотостудиях.

Не знаю отчего, – может, оттого, что мир этот был очень пёстрым, всех на свете красок, и всего вокруг было так много, – я растерялась. Я боялась вспышки, грустила, даже как-то задумалась, и в моей душе ожила и как бы заняла моё место странная малышка Ина Твилика. Фотограф тоже решил, что у него со мной не получается. И тогда он порылся среди горы игрушек и вещей и вынул двух лёгких деревянных птиц. Они оказались похожи на кукольных длинноносиков (то есть дятлов) и ещё – даже на каких-то воробьёв с Востока. Но главное – у них были гибкие суставы, они со щёлканьем меняли позы и раскрывали-складывали крылышки.

А ещё мне удалось расслышать, как они поют тягучими и немного скрипучими (как самая низкая струна скрипки), но очень тоненькими и еле слышными голосками: одним – явно женским, вторым – более мужским. Я забыла обо всём, кроме них, и стала играть и разговаривать с ними, кормить их, даже немножко подтанцовывать им и подпевать. А они, пощёлкивая крылышками, показывали себя и всё, что умеют, – и не улетали. Это было почти как в сказке Андерсена о механическом соловье, которой у меня ещё нет, я её недавно слы-

шала по радио. Конечно, петь так, как императорский соловей, они не умели (куда им было до него!), зато они были деревянные, тёплые и из дерева певучего, тихого. А потом фотограф сказал: «Чудесно получилось. Я не буду их у тебя отбирать, чтобы ты не заплакала. Мы с твоей мамой друзья, и они могут побыть денёк-другой у вас, а там тебе надоеет, мама приедет сюда и мне их вернёт». Но маме почему-то не хотелось снова приезжать, и она сказала: «Боюсь, что Иринка их может сломать. Лучше мы посидим у тебя ещё полчаса; мы с тобой выпьем чаю, а она поиграет, хорошо? Ир, а ты согласна?» Я не смела об этом и мечтать, я была счастлива и ещё долго играла с птицами, пока они негромко пели и разговаривали, а потом мы вернулись домой.

Окончен

Остановка в полминутки

Из этой сценки видно, что хотя театрик «Кокон», как и моё основное, общепризнанное «я» Иринки, и находился на солнечной стороне, но там присутствует и некое другое существо, точнее, моё другое естество, как бы ещё оставшееся «малышкой» и легко теряющееся в этой жизни. Это была она, так никем и не признаваемая Ина.

3. О Твилике, а также о сагах и эпосе

Тем, что у Ины появилась «фамилия» Твилика, она была обязана дедушкиному письменному углу. (Вообще-то она была составлена из букв фамилии моего отца, которую я получила только достигнув шестнадцатилетия, вместе с паспортом. Это опять же было уступкой дедушке: раз мне не дали имени Серафима, то вместо него я получила в пользование до совершеннолетия мамину фамилию Шагальская).

Видя, как я кружу вокруг его уголка за столом и своим разглядыванием мешаю его занятиям, дедушка как-то раз, смеясь, обронил: «Ты моя повилика». Как и некоторые другие слова, прочитанные им в книгах, но редко употребляемые в разговорной речи, он произнёс его с неправильным ударением, на слоге «ви». Из этой «повилики» и придумалась Твилика.

Но не одной только «фамилией» она (и я вместе с ней) была обязана деду, а вышло так, что благодаря ему она (в отличие от меня) росла и развивалась в духе эпического начала.

На столе, рядом с двумя огромными рижскими томами Библии и похожими на гроссбухи тетрадями с записями, нередко полёживал и другой двухтомник, тоже из больших и толстых книг, но по сравнению с первыми они казались не столь внушительными. Этот последний был участником дедушкиного досуга и назывался он «Сага о Форсайтах». Читая его, а точнее, это «многокнижие» (в своём роде), он улыбался, пожимал плечами, вздыхал иногда... Он не принимал её особенно всерьёз, но считал притом по-своему серьёзной. Он был к ней привязан, ему никогда не было с ней скучно, это была книга-спутник. В меня она ещё не помещалась, она была слишком тяжеловесна и в буквальном, и в переносном смысле, но дедушка понемногу мне из неё пересказывал. Он не был ни чтецом, ни хорошим рассказчиком, если речь не шла о его коньке – о Торе-Библии и о величии Творца.

Я поняла только, что он, по-видимому, ощущает себя немного похожим на старого Джолиона, и года через два сумела оценить ту главу, в которой описан закат его жизни.

Он также говорил нечто, как всегда, не до конца мне понятное, например о том, что семья должна быть большой, как и бывало раньше. И что все эти люди, конечно, покажутся мне скучными и чужаковатыми, а ему они во многом напоминают членов той семьи, которая окружала его, когда он был ещё пареньком лет пятнадцати-шестнадцати. Напоминают вовсе не своим солидным положением в обществе, уровнем культуры или достатком – нет, чем-то совсем другим. Пожалуй, своим отношением не только к собственности, но и к жизни, и друг к другу.

Дедушкины братья и сёстры, которых он когда-то вырастил, со своими семьями и потомками не удержались в Ленинграде после войны – кто-то оказался в Москве, кто-то остался в Новосибирске, только младшая его сестра, маникюрша Ольга (с несчастным сыном, попавшим в трудлагерь четырнадцати лет из-за записи в дневнике, а в описываемое время ещё не вышедшим оттуда), жила недалеко от нас, у Пяти углов. Кроме неё и его четверых взрослых детей, никого из прежней большой семьи рядом с ним не было.

И он был совершенно прав... увы, по крайней мере в том, что мне это осталось непонятным. Ведь в моё время семьи стали маленькими и разобщёнными. Но так как некое особое очарование таилось для меня во всём, что бы дедушка ни делал, то объектом его на этот раз стало слово «сага».

Сага, эпос, эпические сказания и легенды – всё это было в моём представлении как обрывистые горы со снежными вершинами и глубокими заливами или озёрами – в южном ли, горячем Средиземноморье, во льдистых ли и грозных фьордах Скандинавии. Сюда относилось всё не востановимое моим живым, повседневным и скорее комедийным театриком «Кокон», где многое с относительной лёгкостью становилось карманным и зеркальным.

Сюда относилось не только всё величественное и восклицательное до возгласа и даже стона (просто голосом – не рассказать), но и всё непостижимое и тем не менее существующее, более того – встречающееся (но как редкость) и в моей жизни.

И ещё: именно здесь обитала тайная, глубинная боль. И чем непонятнее и непостижимее – тем иногда и грубей (строка из будущего стиха: «жизни – жёстче, боли – больше»). «Это» всегда было в моей жизни, с самого младенчества, об «этом» свидетельствовали, в частности, некоторые сны. «Это» не появилось, не возникло в связи с моим школьным несчастьем, а только углубилось и участилось, резко усилившись в своих проявлениях.

В возрасте лет около восьми, пожалуй, рановато вести дневник? Однако я не замедлила завести его вскоре после происшествия в Екатерининском саду. Разумеется, он не сохранился: об этом повседневно заботилась мама из осторожности. Этот дневник никак не походил на ежедневник, роль последнего в жизни скорее принадлежала «Кокону». Это был дневник особый, о нём придётся рассказать подробнее. Я собираюсь разделить его на две стопки случайно сохранившихся (в памяти) листков. Первая – совсем ещё детская и принадлежащая маленькому ребёнку (а не следующему, большому, в переходном-подростковом возрасте). Вторая найдёт себе место далее, сейчас же естественно вспомнить о первой...

Но начать придётся с другого конца – с мифических и эпических представлений о мире обычном, но непонятном, о мире взрослых, характерных скорее для Твилики. Все они как таковые – отец, мама, тётя Белла (Бэба) и другие родственники и знакомые – не то чтобы совсем мне не были понятны. Нет, то немногое, что я знала, я понимала очень хорошо. Но все они вели не только домашнюю, но также и внешнюю (на службе, в частности) жизнь, да и внутренняя их жизнь была от меня скрыта – кроме как по мелочам тогда никто не высказывался вслух при детях. И все они поэтому как бы делились на две составляющие: на одну – человеческую, понятную совершенно или не совсем, но всё же близко-далёкую и просто знакомую (последнее – иногда даже и слишком!). И на вторую – вообще незнакомую, отчасти даже «мифологическую».

Исключениями были тётя Соня, Юна и дедушка, но только без его, как мне казалось, «огромных чёрного сюртука и шляпы», которые были мне непонятны не просто, а как-то особенно, таинственно.

Не только в мире взрослых, но и в мире любимых моих сказок (казалось бы, знакомых мне как уютнейшее сказочное королевство из «Золушки» Евг. Шварца – настолько, что я могла повсюду и со всеми запросто в нём играть) имелись территории запретные – как бы отгороженные колючей проволокой и совершенно непостижимые уму. Находились они не за

кулисами и не за границей, а в нём самом, но они были *terra incognita*³²; они были как канувший неизвестно куда заржавленный меч Мерлина. К ним относились, в частности, страшный гроб-сундук богатыря Святогора, людоеды, а также и многое другое, не обязательно совсем уж страшное, но глубоко (и даже неизмеримо) загадочное.

Слова «сага» и «эпос» вполне подходили для их обозначения, но нужно было условно (так как на реальную разведку я не потянула бы) как-то назвать населяющих эти земли персонажей и их владения. Никакие слова из мне известных, кроме «людоеды», тут не подходили, а оно тем более не годилось и вообще мне не нравилось. Слишком оно было актуальным в недавнем прошлом, если и не имело уже реальности в нашем послеблокадном городе.

И мне (то есть не мне, а Ине Твилике) пришлось придумать им названия. Но при этом она произвольно, как часто делают маленькие (и не только они), взяла и соединила две области непонятного, во-первых – из мира взрослых, а во-вторых – из мира сказок, перемешав обе эти «терры инкогниты». Одно из таких названий, довольно редко у неё встречающееся, Твиликой, впрочем, придумано не было.

Мне случится вскоре упомянуть о моём тяготении (чтобы не сказать – о странном раннем пристрастии) к сфинксам перед Академией художеств. В Твиликиной саге также изредка водились, точнее, упоминались сфинксы, но единственным из них, с кем я была знакома лично, был мой отец.

Гораздо чаще в ней встречались существа, именуемые Твиликой элефстонами, но их было не больше одной трети разномастного населения (как и Форсайтов в одноименной саге), а самые многочисленные из остальных именовались гномврихами.

Источниками обоих названий были сказки братьев Гримм, Перро и Андерсена, а также и наш с дедушкой Зоо. Не следует забывать и об отдельных страшных, пронзительных, но одновременно и прекрасных строках из Пушкина, Лермонтова и Гейне.

И те и другие персонажи были существами глубоко двойственной природы. Так, к гномврихам прямое отношение имели и гномы, и прелестное с моей точки зрения имя Генрих (потому что так звали Гейне, а знакомых с таким именем у нас не водилось). Но также и фильмы про фашистов, с их лающими по-немецки голосами; однако это не значило, что все гномврихи были похожи на немцев-романтиков или, напротив, были злобными. Нет, просто они были более жёсткими, грубоватыми, а в своих действиях более мелочными и практичными, в чувствах – более скудными и прижимистыми, чем остальные (или вообще люди). Но они могли быть и благодушными, умеющими многое и мастеровитыми, да и гостеприимными, как Генрих-свинопас, он же и трубочист. А отдельные из них могли возвышаться над ними и надо всеми вообще, как горы (как Гейне или Блок, которого я в детстве числила по происхождению немцем).

Сложнее обстояло дело с элефстонами. С пяти лет меня – а следовательно, также и Твилику – обучали безуспешно не только музыке, но и английскому и немецкому. Правда, немецкая группа быстро кончилась, и впоследствии язык был заменён французским. А английский продолжал течь тоненькой прерывистой струйкой по всё тем же лестницам, что и музыка все долгие школьные годы. Элефстоны были смесью элѐфантов (или слонов) и камней (*stone* по-английски – камень). Почему? Потому что они были в представлении Твилики очень большими, а я вначале довольно маленькой, а уж тем более – она, Ина. И ещё потому, что я (с ней) росла и жила в городе, который был для меня прежде всего каменным, – иными словами, неким расширением понятия «Каменный остров». Это было просто личной особенностью восприятия.

Кстати, элефстоны бывали иногда (но вовсе не обязательно) образованными и по-своему красивыми... нет, скорее, цивилизованными: они чем-то напоминали наиболее симпа-

³² Неизвестные и возможно, ещё не открытые земли.

тичных Форсайтов, но, как и последние, нередко отличались толстокожестью и сами же от неё страдали.

Итак, мир взрослых – сфинксы, эльфстоны, гномврихи... Отец – сфинкс; мама, в виде исключения, – эльфстоун (именно от эльфа, а не от слона, – она тоже единственная в своём роде). А вот некоторые их знакомые, например Вайнсоны, – гномврихи, которых (нет, тётю Эмму в первую очередь) отличают приземлённость и своего рода виртуозность в земных делах, мелочность, грубоватость и крикливость, граничащие с жестокостью и жадностью. Впрочем, они – люди очень порядочные, да и вообще, по правде говоря, настоящая гномвриха – только тётя Эмма (а дядя Миша, её муж, по природе своей первостатейный эльфстон, но ему пришлось наняться в гномврихи, раз он на ней женился).

Эльфстоны делились, как и дельфины и слоны, на умных и не очень. К ним Твилика относилась отстранённо и нейтрально, порой вдруг очень сочувственно в глубине души, но чаще – с преобладанием чувства юмора, о чём и свидетельствуют приводимые ниже отрывки из анекдотов Твилики о взрослых. Например, в своё время учителя пятого класса воспринимались ею (да и мною заодно) поначалу как умные эльфстоны.

Были, кроме того, и отдельные чудища, наделённые только именами собственными, – наиболее страшные из них, как легко будет догадаться впоследствии, именовались «Пелагея»³³ (она была *оборотень*) и «Антонина» (она была старшая из *Парок*³⁴). Но не все могли бы поместиться не только в «Кокон», но и в эпос Твилики: например, отец не помещался из-за своих размеров и непонятности – недаром он именовался Сфинксом.

А дедушка и вообще не воспринимался мной как явление языческого и эпического мира, он был связан с ними только через род и родственников. Он так и остался совершенно уникальным, единственным, поэтому он и был так одинок. Его двойное имя было Кальман-Элия, где Кальман – родовое, а Элия (в просторечии на идише – Элье, отсюда и Илья Израилевич) было непосредственно связано и с ивритским словом «Бог», и с именем Ильи-пророка. А также и со всеми его рассказами о Боге, о божественном, с упоминанием слов «Эльон», «Элогим»³⁵, для меня ещё совершенно закрытых и непонятных.

Но перед тем как перейти к историям, хроникам, анекдотам и снам (иногда в какой-то мере вещим), которые по преимуществу являются достоянием Ины Твилики, я вкратце расскажу ещё об одном сюжете и действе из театра «Кокон», в котором также мелькает Инина тень и роль её немаловажна.

4. Возвращение к «Кокону» (Эпизод второй. Путешествие к дедушке)

Вначале, вместо списка действующих лиц и либретто, рассказ о приключении, которое было в реальности. Затем оно попадает в «Кокон» «на ходу», а также и по ходу развития событий. И вновь благополучно входит в реальность, а затем играется изо дня в день дома как сценка из пьесы.

Отголосок – возраст около шести лет

Я ездила к дедушке на трамвае номер три, который шёл от Колокольной улицы до их дома. Однажды, в одну из самых первых поездок, ещё до угла Литейного и Невского я уронила три копейки, плату за проезд, и не смогла их найти, а других денег у меня почему-то с собой не оказалось. Доброжелательная кондукторша сделала вид, что я уже заплатила, но совесть (одна из двух главных черт характера Твилики наряду со способностью легко теряться в трудных обстоятельствах) заставила меня выйти из трамвая. Любознательность

³³ Этот персонаж также вскоре появится.

³⁴ В греческих мифах – сёстры, прядущие человеческие судьбы, но и послушные воле богов.

³⁵ Имена Бога (*др.-евр.*).

и жажда приключений, характерные для Иринки, побудили меня тронуться в дальнейший путь, так как дорога к Спасо-Преображенскому собору³⁶ и далее к Летнему саду была мне знакома. И кроме того я боялась, что если вернусь домой, то меня не отпустят ни в этот раз, ни в следующий, сказав «ты ещё маленькая». А перспектива одинокого ночлега была для меня страшнее, чем путешествие днём по малознакомым местам. Так я дошла до Инженерного замка, в окрестностях которого мы с моим приятелем Юрой Коновязовым (о котором тоже речь впереди) впоследствии очень любили играть по субботам с утра, пока мама пела в соборе, да и после чая (с Юриной мамой, тётёй Адой) у них дома на Пестеля. Я без особого труда дошла бы и до Летнего сада, и до Марсова поля, где нам случалось в выходные (тоже в основном впоследствии) гулять всем вместе, хотя насчёт дальнейшего пути у меня имелись некоторые сомнения.

Но вот и Инженерный замок, который был по-особому притягателен, и он остановил, а затем и задержал меня своими окнами, в которых уже чуть светилось предзакатное осеннее солнце. Тогда я как раз начала читать «Трёхсотлетие дома Романовых», книгу, показавшуюся мне очень серьёзной и малопригодной для «Кокон», скорее трагической. Но тут лукавый попутал меня, я стала играть у замка в «Кокон» и разыгрывать то камерный бал с фрейлиной Нелидовой (ошибка, тогда вполне мне простительная) перед одним большим окном, то появление мальтийских рыцарей в зале с другими окнами, которые блистали и отсвечивали пурпурно-алым светом. Но, как во сне с дурным концом, чем дальше и интереснее разыгрывались сценка за сценкой (впрочем, я не потеряла чувства времени), тем тоскливее становилось предчувствие ужасной смерти Павла Первого и чего-то ещё непредсказуемо тяжкого, что почему-то может случиться и со мной. Нет, я не надеялась (и поэтому не боялась) увидеть призрак в окне, и я не собиралась доходить до страшного события в игре, но тяжёлое предчувствие нарастало. А на небе появились тучки, прогремел отдалённый гром...

Я спросила у женщины с мальчиком, проходивших мимо: «Который час, скажите, пожалуйста?» – но вышло так, что спросила уже не храбрая Иринка, а трусишка Ина Твилика и голос у неё дрожал, а на глазах были большие, готовые обернуться плачем слёзы. Но окружающий мир был ещё скорее миром Иринки и выходного дня в хорошую погоду, и женщина спросила: «Девочка, ты, наверное, заблудилась, куда ты идёшь и где твоя мама?» Когда я быстро, без запинки рассказала, что произошло (про трамвай, монетку и дорогу), она рассмеялась и сказала «Нам с тобой по пути, мы посадим тебя на трамвай, видишь остановку?» Трамвай не замедлил появиться, они поднялись со мной на площадку, она заплатила. Мне было немножко стыдно, но чувство облегчения было огромным. Хотя и преждевременным, так как выяснилось, что дедушка ждал меня на остановке больше часа и очень взволнован. Но никто меня не наказывал в тот раз, а мама даже ни о чём и не узнала.

окончен

В тот раз я поругала Твилику за то, что она такая глупенькая малышка, и она послушно спряталась в меня и не показывалась больше – в тот вечер и в следующие. Но на самом-то деле, при всей своей нерешительности, Твилика, как бывало много раз – и раньше, и потом – *оказалась (да что там! всегда была) моей совестью, да и интуицией*, а неразумно вела себя на самом деле звонкоголосая выдумщица и умница Иринка.

Впрочем, если совесть больше отличала Твилику, то правдивость (если не считать ложью выдумки и фантазии) у нас с ней была общая. И вообще столь многое роднило и объединяло нас, что разделить нас по-настоящему оказалось бы не легче, чем сиамских близнецов.

Но... всё же условимся на будущее, что «хроники», дневник и эпос принадлежат одной Твилике, а все выше, да и ниже приводимые эпизоды и снимки памяти были сделаны Ирин-

³⁶ Ире пришлось сделать крюк, так как другой дороги она не знала.

кой (Твилика же только высывалась иной раз). И получается, что всё солнечное, радостное, «открыточное» и красочное доставалось Иринке, а всё самое горестное и даже безнадежное, все дурные последствия, все засвеченные и потемневшие снимки – Твилике. Но наши беды были общими, и терпели мы их, крепко прижавшись друг к дружке, вместе...

(Рассказ-вставка прерывается)

Рассказ пятый. Серия снимков с отцом (окончание)

3. Открытки в море (и о само;м синем море)

Сейчас много говорят о характерах по знакам Зодиака и о четырёх стихиях, ими, двенадцатью, воплощаемых в обитателях нашей планеты. Я родилась на границе знаков Овна и Тельца (между «воздухом» и «землёй»), но моей родной стихией, тем не менее, почему-то оказалась вода.

(Отголосок Ир³⁷ -Твилики)

Мир вокруг был живым и красочным, он радовал и манил, но бывал и слишком пёстрым, мелькал порой слишком быстро, а иногда и вообще становился сплошной грустной и неразрешимо трудной загадкой, и тогда я утомлялась и замыкалась в себе. А вода была сплошным отдыхом, радостно подвижным, а иногда и неподвижно летящим (лёжа на спине в невесомости) – покоем и миром. В соответствии с двумя планами своего характера – Иринки и Твилики – я ощущала себя в воде то резвящейся в ней девочкой-дельфинкой, то малоподвижным, сильным, хотя и немного грустным детёнышем черепахи.

Я не слишком много думала о времени, находясь на плоскости асфальта и травы, а в воде и вблизи воды я вообще забывала о нём. В лесу я боялась многого – великанов (призрачных и воображаемых), чего-то невидимого, но всепоглощающего, а также всех (и себя самой в том числе) – духа леса? Да и более чем реальной для меня опасности заблудиться.

В воде я не боялась ничего и никого, дачи наши снимались всегда на берегах озёр или морей, где не было ни омутов, ни затягивающих в ямы течений. И я бездумно уплывала далеко, устав же, ложилась на спину и мигом превращалась в немного сонную и грустно-счастливую черепашку, ничуть не боясь того, что нахожусь примерно в центре обозримой части плавной дуги горизонта, а берег так далёк. Но постепенно это доходило до меня с лёгким замиранием сердца (почему-то необходимое в детстве и юности условие полного счастья). И напрягая какую-то внутреннюю тетиву, я медлила, а затем, снова став дельфинкой, стрелой летела к берегу. А потом, почти достигнув зоны, где плавали все, опять отдыхала на спине и раздумывала, плыть ли мне на пляж или, отплыв немного назад, заняться нырянием. А иногда, поддаваясь безумному (я понимала, что это так, что это опасно) зову души и стихии, снова уплывала вдаль – и с замиранием сердца возвращалась. Но так чаще бывало на больших озёрах, а в море – только в хорошую погоду, когда волны убаюкивали, качали и, самое большее, равномерно подбрасывали стада своих лукавых и любящих маленьких волн-овечек и их детей-барашков.

Но море нередко оказывалось неприступным, чёрным (так оно и называлось в Крыму), его быко-, слоно- и мамонтообразные волны грозными, обезумевшими, гигантскими прыжками хотели перепрыгнуть через всю землю. А иссиня-тёмные с сизой чернотой небеса обрушивали на них холодно бурные порывы дождя, как бы желая остудить их пыл и усмирить. Но они лишь ещё сильнее распалялись, расплывались, ярились, и только внезапная усталость могла свалить их и погрузить на несколько суток в сон. В «самые чёрные» из таких дней никто и близко не подходил к пляжу, а повсюду на улочках откуда-то появлялись выброшенные морем водоросли.

Но бывали и иные дни – не до конца ещё чёрные, а просто «иссиня-тёмные, как созревающий виноград»³⁸. Волны были очень высокими, ростом с критского быка (а отдельные –

³⁷ Ир – так чаще звала Иру мама.

³⁸ Из «Мифов Древней Греции» и чтения вокруг них.

с одноэтажный дом), никто – то есть все – не ходил на пляж, но в море купались отдельные смельчаки. Мне было грустно и страшно, мне очень хотелось быть среди них, однако я знала, что это желание пока не из осуществимых.

...И вот в отпуск к нам приезжал отец, и всё становилось иначе. Жизнь делалась строже, дисциплинированнее, в ней появлялись окрики, похожие на команды, и мне гораздо чаще, чем раньше, хотелось убежать куда-то далеко... Но в *такие* дни, в дни моря «иссиня-тёмного, как почти созревший виноград», я – и притом каждый раз неожиданно – становилась счастливницей. Отец, взяв меня за руку, вёл на «бурливый берег», смело входил со мной в воду, сначала на глубину мне по плечи (и держа меня при этом на руках). Затем начинались прыжки вместе с волнами, ритмичная ходьба прыжками точно в такт их взлёту, падению, разбегу. Постепенно он спускал меня в воду так, что ноги мои могли касаться дна, держа за плечи крепко, но мягко.

И теперь я взлетала как мяч вместе с волнами, летела с горы и кружилась вокруг своей оси как волчок, затем приземлялась, стараясь удержаться на ногах, и вновь позволяла следующей волне захватывать, возносить и швырять меня куда-то (да, я! Хотя и не «я сама»). И ни разу не улавливала, в какое именно мгновение я оказывалась на своих ногах, и это уже была действительно «я сама», а отец просто был рядом, так что мог в любой момент подхватить меня снова. Так бывало в первые дни. А потом постепенно он заходил со мной в море всё дальше, покуда вода не достигала и его плеч, на глубину больше полутора метров.

И всё продолжалось так же, как и раньше, а море окончательно превращалось в американские горы, где мы с ним летели в одной упряжке саней, но почти не видя друг друга сквозь брызги. Какой огромной радостью оказывалось и оборачивалось самое страшное на свете, «громады разъярённых волн», рядом с ним, любящим море и меня великаном, с плавающим по морям и наконец-то оказавшимся в своей родной стихии (и моим любимым) Сфинксом!

Остаётся, несколько сбавив тон, вспомнить заодно, что по знаку отец был Стрельцом и так же, как и я, не воплощал в себе стихии водного начала. Видимо, мы оба с ним, если переиначить слово «земноводный», были существами «водоземными» по своей скрытой и невидимой, внутренней природе. Я унаследовала это от него, а он с раннего детства, да и в юности, жил на берегах великих рек и плавал в них подолгу. Вначале это была Нижняя Волга, потом дельта Невы, которая когда-то, до возникновения нашего города была земноводной или попросту, болотной. А затем, когда город окреп и возвысился над ней, скрепляя её берега (и вознося за облака шпиль Петропавловской крепости), но в то же время и позволяя ей пронизать себя насквозь притоками, протоками и (их общими, созданными по плану, но всё равно речными) каналами, дельта превратилась в Водоземье. В северное, небольшое, одно из многих, но находящееся в высоком родстве с древним Средиземьем (Средиземноморьем ли, Лукоморьем).

Это слово, Водоземье, когда-то было придумано Твиликой. Потом я забыла его, а лет десять назад оно повстречалось мне вновь в одной переводной книжке фэнтэзи...

4. Что за человек был мой отец смолоду и в возрасте 35–40 лет. Наши прогулки по улице Зодчего Росси – в век классицизма и в обрамлении модерна

Когда я родилась, отцу было немного больше тридцати, и я не могла себе представить его в юности. Нет, не внешне, так как сохранилась его фотокарточка в семнадцатилетнем возрасте (с лицом то ли гимназиста, то ли юнкера, в поношенной шинели с плеча старшего брата), – а внутренне.

Я не знала его ещё незавершённым и неустойчивым, «не ставшим пока на ноги» студентом Строительного института, одним из любимых учеников репрессированного в 1938-м профессора Морозова. Тогда была арестована целая группа, а отец спасся случайно – из-за того, что в силу материальных трудностей, переживаемых семьёй, оставшейся без своего главы (который скончался немногим раньше в сходных с Морозовым обстоятельствах), он взял академотпуск на полгода и нанялся работать прорабом на большую стройку.

Я, естественно, не знала его и незадолго до этого, когда он пытался стать литератором (и имел данные к тому, судя по сохранившейся краткой переписке с поэтом Николаем Тихоновым), учась на первом и втором курсах.

Но я знаю, что страх перед жизнью был не чужд ему в те годы (впоследствии же это был не экзистенциальный страх перед ней, а страх перед системой как таковой, но он научился хорошо его скрывать). Он ушёл из начинающих писателей в инженеры, так как считал себя равно способным к обеим этим специальностям. А по его собственному выражению, гораздо опаснее и безответственнее было стать конструктивистом человеческих душ, чем просто конструктором-строителем.

Но когда с интервалом в полгода погибли и его отец, и учитель, высоко им ценимый, а его самого, юного «прораба Саню», чуть не поставили к стенке из-за несвоевременной остановки бетономешалки, время показало ему, что хотя вторая из выбранных им профессий, может быть, на данном этапе и ответственнее, да и не призывает к прямому разладу с совестью, но безопасности она всё же не гарантирует. Осознав это, а затем с отличием закончив институт, он для начала устроился на работу в Институт проектирования электростанций (где потом, кстати, и проработал всю жизнь до семидесяти семи лет), а по влечению сердца вместе со своим другом и однокурсником Зямой (старшим маминым братом) подал бумаги в офицерскую школу для молодых специалистов. Оба были в неё приняты (даже без увольнения, или, как говорили тогда, без отрыва от производства) и блестяще окончили её за год с небольшим. Но военной карьере отца, как это ни странно, помешала война. В самом её начале, не дождавшись офицерского призыва, он записался в ополчение, на следующий день отправился воевать, был через две недели ранен, попал в пригородный госпиталь, куда и пришла бумага из военкомата о том, что в проектном институте ему выписана бронь как «многообещающему и уже приобретающему ценный производственный опыт молодому специалисту».

На этом и кончились его «поиски себя»: сначала как литератора, затем как архитектора-строителя (не без его дипломного проекта был построен единственный длинный конструктивистский дом на Таврической улице, которого, к счастью, почти не видно из-за деревьев и решётки перед ним и Суворовского музея позади) и наконец как военного. И начались его серьёзные многолетние труды в области создания прочных и сверхпрочных фундаментов для крупнейших электростанций страны.

Но эти поиски себя в молодости были не только «в минус»: они дали ему разностороннее образование, эрудицию, смелость мысли (и знание литературы, архитектуры, живописи), они подвергли его личность некой шлифовке и огранке, позволившей ему стать (а не только поверхностно казаться) эрудитом и блестящим собеседником.

Их с мамой, а затем и с её отцом и сестрой мытарства в эвакуации, в отдалённом тогда пригороде Новосибирска, посёлке с уродским, как он говорил, названием Кривощёково остались мне также совершенно неизвестны. С подлинных снимков осени 1944 года на меня смотрят два улыбающихся друг другу скелетообразных молодых дистрофика (вес отца при его высоком росте был пятьдесят с чем-то килограмм), которые вполне могли бы, судя по их виду, быть счастливо спасшимися узниками концлагерей, освобождёнными Советской армией где-нибудь в Польше.

Работать ему тогда приходилось по 18–20 часов в сутки (как и почти всем), и я не имею представления ни о том, как они выживали, ни о смысле сказанной им однажды при мне фразы: «Тех творческих озарений, что выпадали мне по разным темам работы в те годы, хватило бы и на что-то более значительное, чем куча патентов и статей по всей тематике, разработанной в шестидесятые».

Нет, нет, я помню его уже совершенно другим человеком, живым воплощением стабильности, устойчивости и работоспособности, а также уравновешенности, но характер у него был нелёгкий.

И хотя что во гневе, что пьяным я видела его не больше двух – трёх раз, но и в дошкольные годы, и в младших классах я его очень боялась. Правда, не тем мутным и оупляющим страхом, каким боятся самодуров или людей безжалостных. Скорее страхом отрезвляющим, заставляющим следить за собой, – и поэтому лично мне, существу несобранному, полезным.

Почему же боялась, при всём его для меня обаянии (и притягательности)? Оттого что, совершенно не щадящий себя, он не умел щадить и жалеть других, оттого что, будучи отходчивым, легко прощая и легко сходясь с людьми (и хорошо их понимая), он никогда, тем не менее, ничего не забывал. Он был человеком своего времени и поколения, а у них отчего-то было много общего с людьми века петровского. И «крылатая строка» литературного патрона его юношеских лет, поэта Н. С. Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей: / Крепче б не было в мире гвоздей», – конечно, относилась и к нему.

Да и жил он, повторяю, как паровик товарно-пассажирского состава, идущий только по рельсам и строго по расписанию, трубящий в случае необходимости, как слон, и почти не знающий отдыха. О его «железном и неуклонном» домашнем расписании я уже писала. Во мне он видел всего лишь девчонку (то, что я сама в себе отрицала!), а в глубине души хотел бы иметь сына. Но что же так привлекало меня в нём, неужели только его обаяние, наше пунктирное сходство и голос крови? Нет, конечно. Он, ничего не забывающий и не забывший, прекрасно помнил свои мальчишеские и подростковые годы, своё происхождение, свои тогдашние мысли и книги, которые читал. В поэте Тихонове, в частности, он читал – вторично – последователя и ученика Киплинга и Гумилёва, а не партийца.

Но не склонность к литературе, во мне пока непроявленная, а любовь к городу поначалу, когда я была ещё мала, делала такими одушевлённо-памятными наши краткие прогулки. Он ли выбирал этот маршрут или тот был сам для нас предуготован, но точно так же, как и с дедом на Зверинской, по Кронверкскому (и тем самым поблизости от Петропавловской крепости и Троицкой площади)... да и как с тётёй Соней и Юной – на Васильевском, между Стрелкой и Академией художеств, он был проведён на грани классицизма и предклассически строгого, столь же чистых архитектурно линий стиля петровских времён.

И даже барокко (церковь Владимирской иконы по проекту Чевакинского) здесь было сдержанно-усадебным, держалось в стороне, маскировалось классическим фасадом, а очаровывала и приковывала к себе взгляд только высокая колокольня. Но и она, проведённая в моё восприятие через его рассказ, становилась чем-то сродни Александрийской колонне, а может быть, ещё и какой-то другой (далёкой, неведомой, но где-то существующей), одной из самых высоких в мире.

Присутствующий рядом и «совмещённый» модерн казался здесь стилем подчинённым и даже немного проходным, хотя отлично сработанным и почти ничем не нарушающим чётких первооснов старого Петербурга, да и ничуть не доминирующим. Или, напротив, по-северному массивным и мощным³⁹, почти имперским (наш дом № 19). И следовательно, тоже ставшим «модерном-ампир»⁴⁰ своего рода.

³⁹ О таких домах говорили «дом с башнями».

⁴⁰ Название стиля ампира произошло от слова «империя» на французском.

Отец объяснял и рассказывал мне о городе так много, он как бы строил в моём воображении контурную копию города из огромных пространственных кубиков. Так, ещё не побывав ни разу ни на Марсовом поле, ни в городских садах, ни на Дворцовой (места их воскресных прогулок с мамой и знакомыми, где вскоре с ними довелось гулять и мне), я уже видела «весь город», складывала его в воображении и ощущала.

Город в пересказе отца был вновь как бы по-детски расчерчен линейкой, как и во времена Петра (кстати, реконструкцию зданий, пострадавших в войну, старались выполнять в духе хотя и псевдо-, но классицизма, а вечерняя работа отца как раз и была восстановительной – по строительной части). И в этой несколько искусственно приподнятой и апофеозной первозданности города не было, казалось бы, совершенно ничего мрачного. Не было ни теневого аспекта Медного всадника, ни города Достоевского. Преобладал звенящий и трубный, ликующий мажор, а также застывший и жёлто-белый, продолжаемый необъятными всероссийскими снегами массив ампира.

Но ведь и места Достоевского, и все эти «Кузнечно-Лиговские» улочки на самом деле *были*, и находились они так близко! И вот почему город очередей, где мы вечно стояли с мамой, казался мне изнаночной стороной, сплошным третьим двором с чёрными дырами подворотен и лестниц... Да что там! третьим и тeneвым (окутанным куда-то бегущими серенькими лестничными тенями) лицом того Петербурга, по которому мы так по-разному, но всегда радостно гуляли с бабушкой, с отцом, с тётёй Соней и Юной. Так что изнанка эта была весьма ощутима, как и ранняя осенне-зимняя городская тьма с грязновато-снежной бахромой, как и её неохватная, со всех сторон продуваемая, сумрачная просторность, да и как те тёмные, лестничные странности и страхи, о которых речь ещё впереди.

Так что же за человек был мой отец? Оберегал ли он меня от тeneвых сторон действительности, показывая в ней ясность, строгость и красоту? Учил ли он не только запоминать классические стихотворные строки и крылатые слова (в том числе и ставшие ими в будущем – например, Заболоцкого, Пастернака), но и искать, откуда они, искать просвещающий смысл и логические связи во всём? Учил ли мгновенному обзору и схватыванию всего наглядно, как когда мы стояли на доступном мне, пятилетней, Чернышёвом мосту с цепями, а года четыре спустя – на Кировском? Учил ли ничего не бояться?

Да, конечно, это так, но всё было совсем не так уж просто. Ведь он имел серьёзные (личного порядка) причины страшиться многого сам. И не без оснований полагал, что обыкновенная интуиция подскажет любому, в том числе и мне, чего попросту надо остерегаться во времена, в которых мы с ним были прописаны (иными словами, «прикреплены»). Но что-то, видимо, осталось им недоучтено, а я оказалась именно в этом недоучкой.

В нас с ним перекликались наши, хотя и разновременные, но обоюдные и чем-то похожие детство и юность, которые он до такой степени не забыл, что в глубине души оставался немного угрюмым подростком. Пожалуй, помнил он себя и тем шестилетним мальчиком, которого чуть не съели голодающие Поволжья из-за его ребячьей доверчивости. И это, пожалуй, сближало нас больше всего.

И всё же он был по-своему безжалостен, таким сделало его время. И потому-то я, ощущая в нём сильнее всего эту его прямооту и твердокаменность, а в них – и родство с «творением Петра», и его взрослую непонятность, произвела его в Сфинксы.

А «что же за человек был мой отец»⁴¹, я по-настоящему узнала и поняла гораздо позже, много лет спустя, когда кончились годы моей по-детски восхищённой любви к нему, а затем прошли и годы жизни во взаимной нелюбви, и годы относительного покоя, – иными словами, в самом конце его жизни.

(Рассказ пятый окончен)

⁴¹ «Что за человек был мой отец» – заголовок из «Отрочества» Л. Н. Толстого (я ещё не раз буду ссылаться на эту книгу).

Рассказ-вставка (окончание). Начало хроник Твилики

...Вернёмся к тем из хроник Твилики, в которых говорится (прямо или зашифровано) о важнейших событиях, происходивших в семье и в окружающем «мире» наших домов, двора и школы. Они остались преданием и не имеют ничего общего ни со снимками памяти, ни с театриком игр «Кокон», где разыгрывалось и варьировалось всё ежеминутное, происходящее и преходящее. Нет, это другое – это детские рисунки, они немного похожи на фотокарточки, но как бы набросаны пунктиром, резко, сквозь ветер и дождь.

Хроники – это переосмысление всего наиболее важного с точки зрения Ины Твилики в краткие рассказы – первоначально отчасти сказочные, отчасти же анекдотические или страшные, а позднее и «эпические» (в своём роде). В эту повесть попали немногочисленные отрывки из них. Следует сознаться, что хроники эти продолжались лет до тринадцати с чем-то, хотя театрик «Кокон» стал утрачивать свою актуальность на год или полтора раньше. Играла я в это подобно тому, как большие девочки ещё иногда «по забывчивости» играют в куклы (кузина Юна, например). Играла до тех пор, пока большой ребёнок, сопротивляясь поглощающему его подростку, ещё существовал и творил – и во мне, и в том малом мифическо-эпическом мире, в котором и вообще (в какой-то степени) живут дети.

5. Ранняя Твилика от трёх до пяти

Ранняя Твилика, совсем ещё малышка, высказывалась очень редко и неожиданно, она выпаливала что-то, после чего окружающим (да и мне самой) оставалось только удивляться. А потом все смеялись, ведь «устаи младенца глаголет истина». Да, именно безапелляционность и неожиданность её откровений делали их очень смешными. Эпос Твилики в ту пору, когда мы с ней ничего такого, кроме «Мойдодыра», ещё и не читали (и из страха перед главным героем не могли как следует оценить само произведение), начинался анекдотически, но всё-таки речь шла о событиях неординарных и высказывалась она по сути дела.

Вот первый такой пример – на железной дороге. Мы втроём – мама, дед и я – едем в поезде в дачные далёкие края, у нас много вещей, маленьких и больших: «корзины-картонки» и, разумеется, чемоданы, один большой, второй поменьше (с бельём и одеялами). Рано утром у нас в купе смятение, мама и дедушка очень расстроены: у нас украли второй чемодан. Следует множество высказываний и подозрений, и наконец в купе приходит проводник: «Что случилось?». Твилика (во мне четырёхлетней) выпаливает спросонья: «Плохие народы украли чемодан!» Она ошиблась словом, она хотела сказать «плохие люди», но спросонок забыла нужное слово, заменила людей народами – и высказалась. Потом чемодан каким-то образом нашёлся в другом купе, а весь вагон смеялся, повторяя эту реплику.

Твилика была совестливой, но и не лишённой злопамятства (в юмористической форме) малышкой. Её очень обижало мамино отсутствие по вечерам, (мама в течение года пыталась закончить Консерваторию, но вместе с нами она оказалась ей не по силам), обижало и безразличие отца ко всем стараниям привлечь его внимание. Это происходило когда и я была маленькой (года в три с половиной), а особенно обижалась она, когда сажали на шкаф. И ей случалось в ответ кое-что «доказывать» отцу за его спиной, проявлять злопамятность, но в совершенно несерьёзной форме. Например, она говорила моей подруге, дочери друзей родителей: «Ты знаешь, как мой папа работает? Он очень много и долго работает, но приходит совсем не усталый, так что после перерыва на часок-другой он с радостью работает дома опять. А знаешь, почему он не устаёт на своей работе? Потому что у них там в огромной комнате стоит большой-пребольшой диван, на который можно лечь и спать. Вот он так

и делает – поработает, поспит, потом опять поработает, и так весь день». Эта история стала анекдотом, смешившим друзей родителей при любом подходящем случае.

Бывало и хуже (при всей её совестливости), так как она была существом не слишком разумным. Однажды на смену тётке Шуре (дворничихе и по совместительству моей ночной няне) субботним вечером пришла чужая женщина, и Твилике это крайне не понравилось. Она задумалась, как бы сделать так, чтобы женщина больше не приходила. И вот додумалась до рассказа о том, какой папа странный: как он не ночует дома, оставаясь на работе до пяти утра, и как часто уезжает в ночные командировки. Разумеется, скрытая месть папе таилась в этих словах, поскольку женщина жила во втором дворе и, как легко было догадаться по её виду, общалась там со многими. И вскоре (ведь «устах младенца глаголет истина») за маминой спиной стал раздаваться сочувственный шепоток, а тётя Шура охотно пересказала ей, в чём дело. Мама и дедушка дружно стыдили меня, а отец с их согласия отлупил ремнём (что случалось крайне редко) со словами: «За враньё – раз! За враньё – два!»

А я не могла никому из них объяснить, что это не я, что это выходка Твилики, которая долго молчит, а потом – как брякнет или как выпалит! Но зато женщину эту ни разу больше не приглашали сидеть со мной ночью. И с тех пор она не появлялась у нас вообще.

6. Ранний эпос

Первой последовательной хроникой Твилики было повествование о страшных зверюгах под названием «Блокадные крысы и прочая чёрная нечисть». И о победе, одержанной над ними совсем и небольшим с виду, чёрненьким с белым, усатым созданием по имени Мура, аккуратнейшим из всех ей подобных и хотя огрубевшим на войне, но нежно мурлычущим (подробности, да и сама летопись боёв не сохранились).

Об этой ранней хронике военных действий могу сказать лишь то, что героиней её была никак не Твилика (которой досталась роль рапсода), а дикая и уличная, но почему-то ужасно милая чёрно-белая кошечка, которую до этой победы никак не звали, почти не кормили и запирали ночевать на кухне, а после – стали любить, уважать, сообщая подкармливать и звать Мурой. А мы с Юриком Скворцовым освоились с ней и давали ей любые уменьшительные и ласкательные производные от этого слишком скучного и обыденного имени. Особенно если она пищала во время притискивания или запираения «в тюрьму», – чтобы поскорее задобрить и показать, что мы её любим: Мур-ру-рум, Мурёна, Мур-русик... Прижилась она в комнате родителей Юрика (мама почему-то не жаловала кошек), но и я имела право принести её к себе в уголок и играть там, и даже иногда спать с ней в ногах, так как она была киской заслуженной, приобретшей в нашей квартире постоянную прописку и право иметь котят, которых потом раздавали знакомым. Таковы были и анекдоты, и хроники раннего периода, смешанные с реальностью.

...А вот и кое-что посерьёзнее – хроника целого эпизода, оказавшегося одним из важнейших в нашей жизни, да и из самых печальных по последствиям (хотя ни я, ни мама не понимали этого тогда). Поэтому она потребует и предисловия, и объяснений.

Типичным и, пожалуй, главным *домом гномврихов* в представлении Ины Твилики было жилище четы Вайнсонов (друзей родителей), где я оказалась в тот роковой и переломный не только для нашей семьи, но и для меня самой вечер.

Дома наших знакомых (как правило, состоявшие из одной, от силы двух больших комнат в коммуналках) представляли собой нечто вроде «небольших плотов», где сгрудилось всё оставшееся семейное имущество и достояние, пережившее разрухи первой половины века – от Первой мировой войны и пролетарской диктатуры до конца Второй мировой.

Семья Вайнсонов (со стороны мужа и отца этого семейства, дяди Миши) проживала в нашем городе довольно долго, поселившись в нём чуть ли не при Александре II Освободителе и даже, кажется, до каких бы то ни было реформ. Тётя Эмма Вайнсон (приятельница мамы ещё из смоленского детства) была по своей натуре именно гномврихой, а по предназначению – главной экономкой. Кстати, работала она, как и тётя Бэба, экономистом. Она запомнилась мне как очень маленькая женщина с волевым подбородком, сжатый комок энергии с копной необыкновенно жёстких рыже-каштановых волос, так аккуратно подстриженных и уложенных с помощью бигуди, что они даже ничуть не топорщились, а являли собой однородное скопление колечек-стружек (каждая из которых была промежуточного цвета – от коричнево-железного до ярко-медного) – или же своего рода воинственный шлем. В своём отношении к собственности она была прямой противоположностью нашей тёте Соне⁴². В их доме уцелело многое, вплоть до таких «мелочей», как коллекция фигурок из мейсенского фарфора, и всё это лоснилось, сверкало, отреставрированное и выставленное напоказ, но, впрочем, тогда – вопреки обычаю и моде.

Тётя Эмма была гномврихой-хранительницей и воевала она с современностью столь же отважно, как её почти что тёзка, «людоедка» Эллочка из Ильфа и Петрова, – с бумажно-картонажной бедностью своего времени. Пережив очередную разруху, тётя Эмма вставала на ноги, возвращалась в привычную среду обитания и снова тащила на свой плот всё, что можно было схватить и спасти. Говорили, что когда-то (давно!) она вышла замуж за дядю Мишу по расчёту. Но ничто на свете не заставило бы её продавать свои – а на самом деле его – семейные вещи разным Пелагеям (так звали одну нашу соседку). Оставшись в блокаде в городе, Вайнсоны как-то просуществовали, работая и не слишком бедствуя, хотя у дяди Миши появились и навсегда остались отёки. Но наш «железный друг» бегал вечерами по далеко не безопасному городу, занимаясь обменами и мелкими спекуляциями, и с тех пор супруг прозвал её «маленькой великой финансисткой». Она же начала презирать его в глубине души именно тогда: «Представляю, куда бы он скатился, если бы не я». А до того ей приходилось смотреть на него снизу вверх во всех смыслах, ибо он принадлежал к старому питерскому интеллигентному купечеству, учился в гимназии и в консерватории, а не только в экономическом институте. Он был (и оставался всю жизнь) мягким, замкнутым и благовоспитанным «чеховским» человеком, казавшимся Твилике типичным элестоном из бывших, – иными словами, из тех, что поблагороднее (хотя и похожим слегка на чьи-то потрёпанные мягкие игрушки). Ну а Эмма была дочкой сапожника (сумевшего незадолго до первой разрухи выбиться в торговцы обувью), девочкой из многодетной семьи, не имевшей ни малейшего шанса на такое замужество, если бы всё осталось на своих местах.

Итак, их дом был крепостью из начищенной до блеска старинной мебели и мягко светящегося за стеклом мейсенского фарфора. А дяде Мише поневоле пришлось наняться в гномврихи, так как дома они всё делали вместе. Причём она была «старшей гномврихой», но также и уборщицей по совместительству, а он шеф- (и просто) поваром. Вдвоём ходили они и на службу в проектный институт, но работали, правда, в разных отделах. И только поэтому, а также благодаря тому, что он блестяще играл в шахматы и бридж, умея подыграть начальству, дядя Миша занимал на службе должность повыше, в то время как она довольствовалась званием старшего инженера.

Раз уж мама была знакома с Эммой с детских лет, то для неё это было чем-то вроде родства, и кроме того она уважала её за те качества, которых сама была лишена начисто, – за характер и железную хватку. Но дружили родители (вернее, понимали друг друга) преимущественно с дядей Мишей. Дом их славился и возвышался, если позволительно так выразиться, настоящим искусством кулинарии. Она была дяди Мишиным хобби, он соби-

⁴² Сестра отца. О ней – в своё время.

рал старинные кулинарные книги и рецепты и готовил лучше и изысканнее, чем в любом из доступных обычной публике ресторанов. Обед или ужин у Вайнсонов поэтому всегда был событием. Дамы приходили нарядно одетыми, мужчины старались отличиться галантностью и остроумием, хотя большинство ходило к ним всё же именно «ужинать».

Вообще роль еды в конце сороковых и начале пятидесятых трудно переоценить: стремление хорошо поесть считалось чертой немного смешной, но никак не слабостью, а напротив, очень даже естественным проявлением жизнерадостности и жизнелюбия. Видимо, многолетний голод, пережитый всеми, долго не забывался. И поэтому все праздники были тогда и праздниками победы над голодом – по форме (если учесть, что многим почти уже не было дела до их официальной сути).

Что касается меня, то я очень любила их дом ещё и потому, что войдя, поздоровавшись и приласкавшись, как принято (они «были знакомы со мной» с годовалого возраста), я надолго замирала и занималась то ли glass shopping-ом⁴³, то ли молчаливой, статичной игрой в «Кокон» перед двумя симметрично расположенными шкафчиками, за стеклянными дверцами которых на полках стояли кавалеры, дамы, пастушки, младенцы и множество иных существ в старинных нарядах, кланяясь и щебеча друг с другом, как мне казалось, на самые разные темы или готовясь к танцам – любым: лесным, сельским, городским, уличным и бальным. Отвлечь меня от этого занятия могло только настоятельное приглашение к столу.

Итак, я знала этот дом только с его самой лучшей, лицевой и парадной стороны – но лишь до поры до времени, до *того* достопамятного дня. Тётя Эмма Вайнсон была зачислена Твиликой в гномврихи первого разряда, так как от неё исходил дух практицизма («честного?») и энергичного стяжательства); и ещё за то, что она была отличной поварихой. (Я не знала, что душой кухни является дядя Миша, ведь для гостей он был благодушным рассказчиком и хозяином дома, тапировал вальсы и танго на фоно и даже мог сыграть импровизацию на темы классики – из Моцарта, Чайковского, да, наверное, и из кого угодно...) А также потому, что она была столь подвижным, быстрым существом маленького роста – у гномврихов, гномов и ежей всё же имелось несомненное родство. Ещё, как и почти у всех гномврихов, у неё имелось небольшое, не ужасное, но явное и нескрываемое уродство. Оно заключалось в её голосе – прокуренном (но не думаю, не помню, чтобы она курила), носовом до гнусавости и не женском, а скорее мужском. Сходные голоса были у многих женщин, воевавших на фронте (или всего лишь торговавших на улице) и привыкших ощущать себя мужчинами, но тётя Эмма, однако, была замужней дамой и совслужащей. Ещё в нём были командные нотки, была хрипота, а в ней – что-то вызывающее то ли на спор, то ли на ссору, на срыв. Но я видела её только любезной (хотя и с грубоватыми манерами) хозяйкой. Это небольшое уродство не радовало, но и не возмущало, оно было привычным. И я говорила маме: «Это даже лучше, чем притворный до сюсюканья голос твоей...» (далее следовало имя, какое – не важно).

Однако я ошибалась: я просто не разбиралась ни в жизни, ни в голосах, и потому не уловила главной черты этого голоса – его истеричной (вульгарной, как говорила мама) крикливости. А теперь предоставим слово Ине Твилике, ведь это описание четы Вайнсонов понадобилось только как предисловие для её рассказа (хроники):

7. Хроника о братике

«...Однажды наступил день, когда родителям отказали в просьбе принять Иринку сразу и дедушка, и тётя Соня. Они разошлись во мнениях с моим отцом настолько, что это «пошло на принцип». Это было неслыханно, но и случай был уму непостижим. Решался

⁴³ Глазением на уличные витрины.

вопрос о том, родится или нет у мамы второй ребёнок, маленький малыш. Дедушка настаивал как только мог, тётя Соня просила за него и умоляла, мы (Ина-Иринка) с Юной плакали, так всем нам хотелось, чтобы он родился наконец. А мама, совсем больная после операции груди, настаивала и плакала больше всех. Но отец был категорически против появления, как он говорил, «двух сирот». Что он имел при этом в виду, оставалось непонятным, никто ничего не объяснял. И об этом на две недели замолчали, а потом сказали, что он родится, только нужно, чтобы меня (нас) не было дома. И нас повезли к Вайнсонам, которые согласились на это в лице скрытной гномврихи тёти Эммы.

О, что это был за день, а потом и вечер! В доме Вайнсонов разыгрался страшный скандал на много часов, неизвестно из-за чего. Тётя Эмма кричала голосом убийцы-чревоущителя и швыряла в бедного дядю Мишу дымящимися сковородками, заставляя его что-то жарить, а он сначала не хотел... Кричала даже так, как будто собиралась освежевать и изжарить его самого. Это было совсем как в аду, а она была там своей, одной из чертвовок. Сковородки эти попадали куда угодно – на постели, на пол, оставляя чёрные пятна сажи (но только не на мебель, а значит, она не совсем сошла с ума).

Я спряталась в их маленькой спальне, а Ляля (их дочь, на три года меня старше) накричала на мать и убежала к своей подружке и кухне Лиле, живущей неподалёку, а меня не позвала. Я легла на кровать, свернулась клубочком и плакала. Как не хватало мне мамы или соседки, Юриной мамы «тёти Марей»⁴⁴, или хоть нашей чёрно-беленькой Мурочки, которая тоже умеет утешать: трётся, мурлычет, что-то и как-то обустроивает вокруг, как в гнёздышке. И боль и обида начинают проходить...

Потом зазвонил телефон: это отец сообщал, что он сейчас заедет за мной и что мама уже дома. Тут тётя Эмма сменила гнев на милость и стала радоваться неизвестно чему, но крайне злорадно. Мне она крикнула громко, как заводной попугай: «Никакого братика у тебя не будет!» А потом всё моментально убрала, вычистила, выгладила и пригласила, раскрутила бигуди, причесалась и стала накрывать на стол к чаю. Дядя Миша пошёл тем временем в спальню и стал меня (а бедная Иринка давно уже была в обмороке) успокаивать, воспользовавшись перерывом и тишиной. Мне было его очень жалко, а ему – меня.

Если меня захотят нанять в гномврихи за сохранение имуществва или даже за всё золото гномов, я ни за что не соглашусь, хотя безо всего и одной жить очень грустно тоже.

...Всё, приехал отец, он здоровается, улыбается, но он мрачен как туча, этот Сфинкс, ведь я его знаю. Нам надо спешить к маме, и предложенного чая мы не пьём... А дома мамы ещё нет, и никого нет, отец едет за ней, а я впервые в жизни стрелой бегу за Муркой, которую категорически нельзя к нам приводить сегодня. Беру её на руки и с ней (а это очень трудно, она возражает) забираюсь на шкаф. Там она, кошечка, чёрно-белый комочек, ушки бантиком и хвостик, вдруг успокаивается и начинает утешать и «утишать» меня, и мы с ней неожиданно засыпаем от горя, нам даже не жёстко и не пыльно...

А потом приходят они, и она спрашивает: «Ты уложил Иру?» – а он отвечает: «Кажется, да...». И она сразу идёт звонить этой ужасной тётке Вайнсон.

А я потихоньку спрыгиваю на тахту, и Мурка за мной. И как это ни странно, мы немеченными переходим в мой уголок, чтобы бесшумно лечь там под одеяло, на нас никто не обращает внимания, и мы опять засыпаем в слезах (Ира – ещё без сознания, я – спрятав Мур-рум под покрывало). Завтра понедельник, первый класс школы, вставать придётся самой вслед за отцом, мама больна, и я незаметно выпущу Муру в коридор...»

Прерывается

Нужны ли объяснения? Пожалуй, нет, только два слова о том, что у мамы вырезали опухоль груди (цистэпителиому), пока ещё доброкачественную, но сказали, что неизвестно,

⁴⁴ Она вскоре займёт в этой повести своё место.

как будет дальше. И врач приказал, чтобы у неё всё было приготовлено для рождения маленького ребёнка, но дал понять, что родиться ему на самом деле и не обязательно. Это объясняет слова отца про «двух сирот» и какую-то мачеху, после которых мама была вынуждена с ним согласиться. Хотя ей это было крайне тяжело и не по душе и шло против всех её представлений и правил.

«Иринка считает, что я вся помещаюсь в ней, так как я меньше. Да, она умнее, живее и сообразительнее, она больше меня, и она быстрее, без задержек растёт. Так что я и правда, похоже, прячусь в ней, как в сестричке-матрёшке. Сама же Иринка живёт в коконе, похожем тоже на матрёшку, но всё же больше – на живое пёстрое яичко, укутанное в обрывки из чего угодно – обоев, лент, цветной плёнки от воздушных шариков, лепестков бумажных цветов, разорванных кукольных башмачков, ёлочной мишуры и крылатых слов из сказок, – чтобы ему было не так уж легко укатиться, упасть и разбиться...»

Но той ночью, когда в комнате стояла такая тишина, как будто родителей не было дома (а они были!), и Мурын согревающий комочек вздрагивал под покрывалом и видел охотничьи сны (а где же у кошек кончается явь и начинаются сны, и наоборот? Наверное, на кончиках ушей, которые всегда настороже), мне чудилось сквозь дрему, что гигантские зверюги, когда-то побеждённые ею, опять скребутся в дверь, беснуются на кухне и вот-вот могут ворваться в нашу комнату. Мура всё время порывалась убежать, выпрыгнуть в прихожую, кинуться им наперерез, но из жалости ко мне и лежащей без чувств Иринке она сдерживалась и оставалась с нами под покрывалом.

Но одному она не могла помочь – её дело было оберегать покой и чистоту жилья и его общих снов, исцелять сонное тело друга своим теплом, это она умела как никто другой. Но в мои сны она войти не могла, так же как и я – в её. А снился мне очень страшный сон о том, как в Иринкин кокон, в глубь живого яичка пробралась чёрная нить с красным пятнышком крови на конце и куда-то спряталась. Чтобы её нельзя было поймать, а она могла бы делать всё, что ей хочется, исподтишка, только ей нужна была поддержка извне нашего кокона, от плохих существ из любых миров. Чтобы кто-то держал её за чёрный внешний конец (или продевал в игольное ушко). И я бы кричала и кричала сквозь этот сон всю ночь, но я боялась испугать Муруську, боялась, что она убежит от меня сейчас и от нас потом – насовсем».

.....

Это очень мрачный (и правдивый) отрывок важнейшей хроники, но в эпосе Твилики были отрывки и посветлей, соприкасающиеся с миром «Кокона».

Она признавала эльфов и фей и порой видела их гораздо лучше, чем я после пяти лет. Фей она считала прирождёнными актрисами, танцовщицами и певуньями, девочками-колокольчиками вроде фарфоровых китайнок и японок. Но присматриваясь к маме, она находила, что бывают и повзрослевшие, выросшие и поскромневшие феи, которые тоже могут многое, но уже далеко не всё, хотя они и взрослые. В маме Твилика видела не только фею, но отчасти и сирену. Потому что она любила родителей не то что меньше, но как-то дальше и отстранёнее, чем Иринка. Как гибрид феи, сирены и взрослого доброго, чуткого человека, мама была для Твилики особым существом, эльфстоуном.

Об эльфах Твилика знала мало, но почему-то считала, что они, как полуторогодовалые малыши, не так уж и ответственны за свои поступки. И больше похожи на маленьких детей, чем на фей или русалок. Эльфы – сплошь малыши, среди них есть не только детёныши людей, но и щенки, цыплята, котята. Они не всегда бывают в духе, но постоянно нуждаются в защите, у них нет ни историй, ни биографий, только крохотный эпизод («башмачок порвался»). И они чаще всего отвечают добром за добро, но иной раз почему-то забывают. К

маме они почти не имели отношения, разве что как существа, мамами которых часто бывают феи. Боюсь, что они были более родственны самой Твилике. Такова уж была она тогда.

А время её более поздних хроник придёт по ходу тревожных событий основного рассказа о моей школьной (и дворовой) жизни, начиная с зимы 1952–1953 года и до болезни в начале пятого класса. Рассказа, к которому вскоре «всё и вернётся», – после знакомства с окрестностями наших домов, с их особенностями и основными обитателями, за что пора бы уже взяться всерьёз опять...

(Рассказ-вставка окончен)

Рассказ шестой. Ближайшая из окрестностей – коридорная владимирская коммуналка

Перед тем как рассказать о третьем доме нашей семьи на Васильевском, где до школы я бывала так редко, что он стал для меня своим незадолго до «екатерининского» эпизода, придётся несколько расширить круг сценической площадки – до «наших» коммуналок, в соответствии с тем, что принято называть объективной реальностью.

Увы, наша почти суверенная комната («квартирка» в квартире), да и комната дедушки и тёти Бэбы занимали своё скромное и надлежащее положение в больших делённых коммуналках, переделанных из огромных барских квартир. Комната наша обладала потолком высотой почти в пять метров только потому, что была когда-то половиной бального зала прежних владельцев, и стёкла в эркере на самом деле привыкли звенеть от музыки и танцев давным-давно. Когда-то они звенели в унисон и с колоколами, ныне заброшенными (но где-то существовавшими – по слухам, на задворках Колокольной улицы), чьё место некогда было на той, самой высокой колокольне. Да, в стёклах всё ещё жили всевозможные отголоски, настроенные на свой былой лад. Видимо, поэтому они так охотно и откликались на полнозвучье маминого голоса и его классический репертуар. Комната наша выходила в переднюю и была отделена капитальными стенами от внутренних коридоров, где жили остальные обитатели квартиры (кстати, это и позволяло маме петь сколько ей вздумается).

Кроме нас в квартире проживали ещё две семьи, такие же маленькие, как наша, и две одинокие женщины.

1. Наши соседи: две семьи и безумная Густава

Если не считать женской и детской части второй молодой семьи из трёх человек (но с мальчиком), все соседи были личностями примечательными (кто своей экзотической нетипичностью, кто, наоборот, характерностью), поэтому они заслуживают не просто упоминания, но и описания.

Передняя не только открывалась входной дверью, но и заканчивалась ещё одной, уводившей в сторону, противоположную лестничной клетке, в глубь того, что мой отец называл «коридорной системой».

Первыми от этой двери внутри были две смежные комнаты семьи Крусановых, молчаливой и почти незаметной. Она состояла из врача Марии Константиновны, работавшей ночами и днями в Куйбышевской (а некогда, как и сейчас, – Мариинской) больнице, а дома только отсыпавшейся и изредка обедавшей, и из маленькой горбуни, бывшей няни и домработницы всей семьи, вырастившей братьев и сестёр, которые жили (когда-то и где-то) в большой, но нам неизвестной квартире. И притом не только их вырастившей, но, как стало известно впоследствии, и вывезшей Марию с её братом Сергеем из Ленинграда по Ладожской дороге на санках, в которые она, Надежда, тогда ещё не старая и привычная ко всякой работе, сама же и впряглась, как лошадь. Нужно ли добавлять, что остальные умерли, что сестра и брат вместе весили шестьдесят с чем-то килограмм и что другого выхода не было. Отчество у Надежды, по её словам, отсутствовало, держалась она сухо и крайне замкнуто, как староверка (так как боялась, заговорив, о чём-нибудь вдруг проговориться, как выяснилось вскоре после XX съезда). Чтобы не вступать в разговоры и не болтать – скучно же целыми днями быть одной, – она коротко всех отшивала своей показной, своенравной и никак не городской, а нарочито крестьянской грубостью. «Молчунья, горбуня, уродина, в церковь ходит не Богу молиться, а неизвестно зачем», – вот что думали мы с мамой по неве-

дению об этой замечательной, самобытной женщине, обладавшей душой старой няни, узкой и глубокой, как колодец (и столь же чистой воды). И... чем-то похожей – но на кого же? – только не на Арину Родионовну, а скорее уж на Савельича из «Капитанской дочки» Пушкина, которой я в девять лет зачитывалась, а живого человека, Надежду, понять не могла.

Что же до самой Марии Константиновны, ставшей впоследствии на короткое время другом моих юных лет («оттепель» произошла за считанные годы до её кончины), то она жила только работой и на работе. В квартире же вела себя тихо, проходила как тень, производила впечатление человека не от мира сего (да и была им по своему бессребреничеству). И я даже немного её побаивалась, но с уважением, вплоть до некоего ощущения её непонятного, но бесспорного превосходства. В начале шестидесятых оказалось, что у них с моим отцом немало общего, – это поддерживало бы её, быть может, в те нелёгкие годы, но тогда говорить друг с другом было не принято. И они почти не были знакомы, не обменивались ни словом, кроме «здравствуйте», «спокойной ночи», «спасибо», что было очень характерно для ленинградцев сталинских послевоенных лет.

Обе они были женщины тихие, и естественно перейти от них к ещё более молчаливому, а по вечерам даже практически немому для нас (но отнюдь не бессловесному) жителю нашей квартиры, главе второй семьи с ребёнком, бывшему лейтенанту, а ныне цеховому мастеру Кировского завода Владимиру Васильевичу Скворцову, личности гораздо более яркой (но только дома и в своём роде). С его женой (полной его противоположностью по характеру), смешливой, хорошенькой, наделённой юмором и шепеляво-протяжным, как бы удивлённым, украинским говором, да и удивительно яркой, солнечной улыбкой, с тётёй Марией («Мареичкой», как мы с мамой её звали) и их сыном Юрой – почти на год младше меня – мы дружески общались, водились и играли.

Мы с ними часто вместе стояли в очередях, и «тётя Марейя», эта на редкость синеглазая хохлушка с пушистыми, вьющимися в причёске волосами (ей было тогда лет двадцать семь) придумывала разные «хохмы», чтобы не так скучно было «торчать», стоя на месте. В частности, игру в дочки-матери, причём юмор заключался в том, что они с мамой как бы обменивались детьми. Меня все принимали за её дочку, а Юру с его отцовскими чёрно-кариками, серьёзно уставленными куда-то глазами (я никогда не понимала, на что же это он так смотрит) – за сына моей мамы. Но не потому, что он или я были так уж похожи на другую «маму», а просто – похожи больше. И ещё мы с ним играли в города, и не только по первым и последним буквам, как все. Мы обнаруживали вблизи «продовольственных» подворотен другие, большие и незнакомые дворы и звонко бегали по ним, выкрикивая названия неведомых городов. Он был моим первым другом детства, и как жаль, что года три-четыре спустя, когда умерла его бабушка, а у родителей появился второй ребёнок, его отдали в Суворовское училище...

Самого же Владимира Васильевича по вечерам боялась вся квартира, кроме его жены и моего отца, хотя он не скандалил, никому не грубил и приходил домой с работы со вполне скромной и понятной целью – поесть и отдохнуть. Но при этом у него был тяжёлый и затравленный, неизвестно от кого унаследованный взгляд старого (ему тогда было лет тридцать) зэка в законе, имелась и квадратная челюсть, да и само молчание его нависало как угроза. Из соседей его не боялся только мой отец, хорошо понимавший его и объяснивший маме, в чём дело. Под строгим секретом, с условием соблюдения тайны мама рассказала и мне, что каждый день перед уходом с работы он выпивает пол-литра водки с друзьями (полтора литра на троих), а после этого угрюмо добирается через весь город домой, дома же первым делом запирается на тридцать-сорок минут в уборной. Если учесть, что «туалет» был общим (а покинуть это место добровольно его мог заставить только голос отца, раздающийся своевременно: «Эй, Володя, друг, выходить пора! Давай, приехали!»), то нетрудно понять, почему

Владимир Васильевич был до восьми (а иногда и девяти) часов страхом и сущим наказанием для всей квартиры.

Надо сказать, что «при всём при том» этот сосед (Котов⁴⁵ в своём роде?) был дома мастером на все руки. Приятно было смотреть, как в воскресенье всей семьёй они, нарядные и в прекрасном настроении, выходят на улицу.

Но «замкнуться в себе» вышеописанным образом он мог и в любое время выходного дня, да и по самой ничтожной на посторонний взгляд причине. В глубине системы, называемой отцом коридорной, имелся большой пустой стеной шкаф (или попросту чулан), где хранились швабры, вёдра, щётки или, проще, – «общественный» инвентарный хлам. (В нём вполне можно было бы устроить и общую ванную, маленькую, как позднее в хрущёвках, но никто почему-то не проявил энтузиазма.) По выходным он иногда «уединялся» на задвижку и там, с одному ему известными целями и намерениями, но это никого, в том числе его жену и сына, совершенно не волновало. Тревожилась только его мать, отдельно проживающая в нашей квартире Пелагея Андреевна Волкова. И хотя её манера выражаться была скорее отрывисто-уклончивой, чем ясной и понятной, она почему-то со страхом говорила о его отчине и о каком-то крюке, на котором «люди вешаются». Но её высказывания и вообще нередко наводили на мысль о чересчур страшных сказках, впоследствии названных триллерами. И потому на них никто особо внимания не обращал, а мы, дети, говорили, что она всё время кричит: «Волк, волк!». Но какой-то довольно захудалый и пыльный крюк там действительно был. Мы с Юрой очень боялись чулана: нас обычно грозили запереть туда, когда мы шалили слишком громко, и действовало это безотказно.

⁴⁵ Персонаж из стихотворения Евг. Рейна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.